Зыбучие пески

Автор:
Малин Джиолито

Зыбучие пески

Малин Перссон Джиолито

Мастера саспенса

В школе самого богатого пригорода Стокгольма произошла перестрелка. Восемнадцатилетняя Майя Норберг обвиняется в причастности к стрельбе, в ходе которой были убиты ее бойфренд и ее лучшая подруга. Майя провела девять месяцев в изоляторе в ожидании суда. Как еще вчера популярная, одаренная девушка, одна из лучших учениц школы, сегодня стала «звездой» таблоидов – хладнокровным убийцей? Что сделала Майя? И почему она оказалась на скамье подсудимых?

Малин Перссон Джиолито

Зыбучие пески

Malin Persson Giolito

STORST AV ALLT (QUICKSAND)

Copyright © Malin Persson Giolito, 2016

©Хохлова Е., перевод, 2017

©ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Малин Перссон Джиолито (р. 1969) родилась в Стокгольме, сделала карьеру юриста в крупной юридической фирме, а также работала в Еврокомиссии в Брюсселе. Автор трех романов, последний – «Зыбучие пески» – вышел в 2016 году и сразу стал мировым бестселлером.

В 2016 году роман «Зыбучие пески» получил премию в номинации «Лучшая криминальная проза года», присужденную Шведской академией писателей-криминалистов. Жюри назвало его «психологической куртуазной драмой, рассказанной в язвительной, и при этом легкой манере».

Ahlander Agency

Этот роман, прославившийся на всю Европу, напоминает «Девушку с татуировкой дракона» Стига Ларссона. Но поскольку его главная героиня очень много рассказывает о себе, мы узнаём ее гораздо ближе, чем Лисбет Саландер.

The Washington Post

Класс

В левом ряду между партами лежит Деннис одетый, как обычно, в футболку с рекламным логотипом, джинсы из супермаркета и незавязанные кеды. Деннис из Уганды. Он утверждает, что ему семнадцать, но выглядит на все двадцать

пять. Этот жирдяй живет в Соллентуне, в приюте для таких, как он, и планирует стать рабочим. Рядом с ним на полу лежит Самир. Мы с Самиром одноклассники, потому что он ухитрился попасть в продвинутый класс с ориентированием на международную экономику и социальные дисциплины.

У доски я вижу Кристера, нашего классного руководителя и самоизбранного реформатора мира. Тело свешивается со стола. Пролитый кофе капает на брюки. Аманда сидит в двух метрах от него, у батареи под окном. Всего несколько минут назад она была живой рекламой кашемира и белого золота. Сандалии на ногах, бриллиантовые серьги в ушах, подаренные ей по случаю причастия. Теперь же Аманда вся в крови. Только серьги еще сверкают в лучах вечернего солнца. У меня на коленях лежит Себастиан – сын самого богатого человека Швеции Клаеса Фагермана.

Какая причудливая подобралась компания. Такие, как мы, обычно не встречаются. Только если на платформе в метро во время забастовки таксистов или в вагоне-ресторане в поезде, но не в одном классе.

Воняет тухлыми яйцами и порохом. В классе полумрак. Все застрелены, кроме меня. На мне ни царапинки.

Судебное заседание по делу B 147 66

Обвинитель и другие против Марии Норберг

1

Своим первым визитом в суд я была разочарована. Мы были там на школьной экскурсии. Конечно, я понимала, что судьи в реальности не носят парик и мантию, а подсудимые – оранжевую тюремную одежду, намордник и цепи, но все равно ждала большего. Суд напомнил мне что-то среднее между

поликлиникой и конференц-отелем. Нас возили туда на автобусе, пропахшем жвачкой и потными ногами. У подсудимого была перхоть и вся одежда в складках. Нам сказали, что он не платил налоги. Помимо Кристера и нас, там было всего четверо слушателей. Но мест было так мало, что Кристеру пришлось принести из коридора дополнительные стулья.

Сегодня все по-другому. Мы в крупнейшем зале судебных заседаний в Швеции. Судьи сидят на стульях из красного дерева с обитыми бархатом спинками. У стула в центре спинка выше, чем у других. Это место главного судьи. Или председателя суда, как его называют. На столе перед ним лежит молоток с ручкой, обшитой кожей. На столах микрофоны. Стены обиты дубовыми панелями столетней давности, потемневшими от времени. На полу в проходах – темно-красные ковровые дорожки.

Я не публичная персона. Никогда не мечтала о том, чтобы меня выбрали Люсией,[1 - Люсия – символ света – на празднике Святой Люсии выбирают самую красивую девушку. – Здесь и далее примеч. пер.] и не участвовала в конкурсах талантов. Но сегодня здесь полно народу. И все они пришли поглазеть на меня. Сегодня я главный аттракцион.

Рядом со мной сидят мои адвокаты из конторы «Сандер и Лэстадиус». Это название больше подходит антикварному магазину, принадлежащему двум стареющим геям в шелковых халатах с моноклями и керосиновыми лампами, бродящими между шкафами с заплесневелыми книгами и чучелами животных. Но на самом деле так называется лучшее адвокатское бюро Швеции, специализирующееся на уголовных преступлениях.

Ординарных преступников защищает уставший государственный адвокат. Но у меня в дополнение к нему целый штаб амбициозных адвокатов, которые работают до поздней ночи в роскошной конторе в центре города, имеют по два мобильных телефона и все, кроме Сандера, думают, что они герои американского телесериала, где люди едят китайскую еду из картонных коробочек, а на лицах у них написано «я такой важный и все время занят». И ни одного из всех двадцати двух сотрудников этой конторы не зовут Лэстадиус. Настоящий Лэстадиус умер от инфаркта, судя по всему, с важной миной занятого человека на лице.

Сегодня со мной три моих адвоката: Педер Сандер, знаменитость, и два его помощника. Младшая – девица с плохо подстриженными волосами и с

проколотым носом, но без кольца. Возможно, ей нельзя носить кольцо на работе. Сандер не разрешает (убери эту дрянь немедленно). Про себя я зову ее Фердинанд.

Фердинанд считает, что либерал – это ругательство и что атомная энергия опасна для жизни. У девушки ужасные очки, видимо, чтобы подчеркнуть, что внешность ее не волнует, и она презирает меня за то, что я принадлежу к состоятельному классу капиталистов.

При первой встрече она обращалась со мной как с безумной фэшн-блогершей, будто у меня в руках граната с выдернутой чекой и при этом я нахожусь в летящем самолете.

– Конечно-конечно, – сказала она, не глядя на меня. – Не волнуйся. Мы здесь, чтобы тебе помочь. – Словно я угрожала всем взрывом, если мне сейчас не принесут мой экологический томатный сок безо льда.

Второй помощник – парень лет сорока с пивным животом, круглым, как блин лицом и идиотской улыбкой, которая словно говорит «у меня есть фильмы дома, я держу их в алфавитном порядке в шкафу, запирающимся на ключ». Блин коротко подстрижен. Папа говорит, что нельзя доверять человеку, которому плевать на свою прическу. Папа вряд ли это сам придумал. Наверняка увидел в каком-нибудь фильме. Папа любит говорить цитатами.

При нашей первой встрече Блин уставился мне прямо на грудь, проглотил слюну и с придыханием выдал: «Крошка, что же нам делать, ты выглядишь гораздо старше семнадцати». Если бы не присутствие Сандера, он, наверно, сюсюкал бы и дальше и пускал слюни на жилетку, обтягивающую его живот.

Я не стала говорить, что мне вообще-то восемнадцать.

Сегодня Блин сидит от меня слева. С собой у него портфель и чемоданчик на колесиках с папками и бумагами. Папки он выложил на стол, оставив в чемодане только книгу Make Your Case – Winning is the Only Option (Сделай твое дело выигрышным – победа или ничего) и зубную щетку в кармане.

Позади меня в первом ряду для зрителей сидят мама с папой. Когда мы были в суде на экскурсии два года назад – целая вечность – нам сначала прочитали

лекцию, чтобы мы осознали, насколько все это серьезно и понимали, что происходит. Не думаю, что от этой лекции была большая польза. Но мы «вели себя хорошо», как выразился Кристер, когда мы покидали суд. Он переживал, что мы будем хихикать и играть на мобильных телефонах или храпеть, как положено скучающим богатым детишкам.

Помню, с каким серьезным видом, Кристер поучал нас (слушайте меня, слушайте, я сказал), говорил, что суд это не шутка, что речь идет о человеческой жизни. Человек считается невиновным, пока суд не признает его виновным. Он повторил это несколько раз. Самир откинулся на спинку стула и кивал с умным видом. Все учителя его за это обожали.

Я все понимаю, мы на одной волне, и мне нечего добавить, потому что то, что ты говоришь безупречно.

Человек считается невиновным, пока суд не признает его виновным. Для меня это звучит странно. Человек или виновен или невиновен. С самого начала. Дело суда только выяснить, какое утверждение верное, а не решить судьбу человека. Ни полиция, ни прокуроры не были на месте преступления и не знают, что именно там происходило. Так как суд может это узнать?

Я так тогда и сказала Кристеру, что суды ошибаются. Насильников выпускают на свободу. Бесполезно заявлять в полицию, даже если тебя изнасиловал целый лагерь беженцев и напоследок сунул между ног бутылку. Никто все равно тебе не поверит. Но это не значит, что изнасилования не было и что насильники невиновны.

– Все не так просто, – говорит Кристер.

Типичный ответ учителя из ряда «Хороший вопрос…», «Я понимаю твою точку зрения…», «Все не только черное или белое…», «Все не так просто…». Все эти ответы означают одно: человек понятия не имеет, о чем говорит.

Но не важно. Если сложно выяснить, кто говорит правду, а кто лжет и доказательств нет, то что тогда делать?

Я где-то читала, что мы сами выбираем, в какую правду верить. Это звучит еще страннее. Как может человек решать, что правда, а что ложь? И что одна и та

же вещь может быть правдой и ложью в зависимости от того, кого ты спрашиваешь. Это просто идиотизм. Если бы кто-то сказал мне, что он «решил мне верить», я бы сразу подумала, что он только притворяется, что верит мне, хотя убежден в том, что я лгу.

Моему адвокату Сандеру нет дела до того, что правда, а что ложь.

– Я на твоей стороне, – твердит он с непроницаемым видом.

Сандер – хладнокровный тип. Всегда контролирует ситуацию. Всегда сохраняет спокойствие. Не показывает эмоций. Не повышает голоса. Даже не смеется. Наверно, даже при рождении не плакал.

Сандер – полная противоположность моему отцу. Папа не «тряпка», как он сам любит говорить. Он даже страдает от своей вспыльчивости. Скрипит зубами во сне и вскакивает с дивана, когда идет футбол. И его все бесит. Бесят чиновники своей придирчивостью, бесит сосед, вечно неправильно паркующий машину, бесят непонятные квитанции за электричество, бесят звонки от продавцов всякой ерунды по телефону. Компьютер, пограничный контроль, дедушка, гриль, комары, нерасчищенный снег, немцы в очередях на подъемник, французские официанты. Все его бесит, заставляет кричать, хлопать дверьми и посылать всех на хрен. Сандер же, даже если его вывести из себя, только морщит нос и щелкает языком. Только по этим признакам понятно, что он чертовски зол. И при виде этой злости его коллеги впадают в панику, начинают заикаться и шарить в поисках книг или документов, чтобы успокоить шефа. Точно так же ведет себя мама с папой, когда с ним случаются эти вспышки ярости.

Сандер никогда на меня не злится. Выслушав мой рассказ, он и бровью не повел. И даже моя ложь не вывела его из себя, хотя было очевидно, что я лгу.

– Я на твоей стороне, Майя, – повторяет он.

Иногда в его голосе слышна усталость, но никогда – раздражение.

О «правде» мы не говорим.

Мне нравится, что Сандера заботит только то, что полиция и обвинение могут доказать. Мне не нужно волноваться, действительно ли он хорошо работает или только притворяется. Он превратил всех мертвых, всю вину и весь страх в цифры. И если они не сойдутся, он выиграет дело. Так, наверно, и надо делать. Один плюс один не делают три. Следующий вопрос, пожалуйста.

Но, разумеется, в моем случае это не сработает. Потому что то, что случилось, случилось. Вот и все. Можно долго ходить вокруг да около, как любят делать философы и юристы, рассуждая в стиле «Все не так просто», но ничего не изменится.

Я помню, как Кристер настаивал, чтобы мы слушали во время экскурсии в суд. Человек считается невиновным, пока суд не признает его виновным. Человек считается невиновным, пока суд не постановит обратное. Он даже написал это на доске. Презумпция невиновности. Одно из основных прав человека. (Самир кивает.) Кристер попросил нас записать в тетрадку (Самир записал, хотя в этом не было нужды.)

Кристер обожал все краткие истины, которые можно было заучить наизусть и превратить в вопрос.

Двумя неделями спустя, проходя тестирование, за верный ответ можно было получить два балла. Почему не один? Потому что Кристер за наполовину правильные ответы давал по баллу, считая, что наизусть заучивать вещи труднее. Один плюс два не дают три, но я даю тебе половину баллов, потому что ты правильно ответил цифрой.

Два года прошло с той экскурсии в суд вместе с Кристером. Себастиана не было. Он появился в нашем классе год назад – остался на второй год. Тогда мне нравилось в школе. Мне было весело с приятелями, и меня забавляли учителя. Например, учитель химии Юнас, говоривший едва слышным голосом, который никогда не мог запомнить, как кого зовут, и ждал автобуса с рюкзаком на животе. Учительница французского Мари-Луиза в очках и с прической «одуванчик», которая все время сосала черные таблетки от горла, отчего губы у нее вытягивались в трубочку. Коротко стриженная преподавательница физкультуры неопределенного пола со свистком на шее, толстыми блестящими голенями, вечно потная и пропахшая спортивным залом и пластиком. Рассеянная

блондинка Малин, учительница математики, вечно недовольная и вечно опаздывающая, она минимум два дня в неделю брала больничный, а на «Фейсбуке» у нее стояло фото в бикини двадцать кило назад.

И Кристер Свенссон. Любитель демонстраций на Марияторгет, заурядный, как свиная отбивная с картофельным пюре. Он верил, что рок-концерты могут спасти мир от войны, голода и болезней, и говорил таким мерзким учительским тоном, полным притворного энтузиазма, каким отдают команды собаке. Такой тон надо запретить использовать в школе.

Каждый день Кристер таскал с собой из дома в школу термос с кофе с таким большим количеством молока и сахара, что он больше напоминал сладкий соус, чем кофе. Даже чашка у него была своя (с надписью «Лучший в мире папа»). Он держал ее в классе и подливал туда кофе на уроках.

Кристер обожал рутину. Каждый-день-одно-и-то-же. Как заезженная пластинка. Наверно, он даже на завтрак ел одно и то же. Что-нибудь питательное в походном стиле. Например, овсянку с брусничным джемом на жирном молоке (завтрак – главная пища дня). Наверняка он с друзьями («приятелями») выпивал пиво раз в месяц, ел такос на ужин дома по пятницам, ходил в местную пиццерию с детьми (там дают бумагу и цветные мелки для рисования), и выпивал бутылочку красного со своей благоверной, когда им было что отметить. Кристер был человеком без всякой фантазии. Отдыхать ездил только по путевкам. Жарил еду на масле и не знал, что такое кориандр.

Кристер был нашим учителем с самого начала старших классов. Не меньше раза в неделю он жаловался на погоду (больше нет ярко выраженных времен года), и каждую осень, что рождественские декорации появляются все раньше и раньше (скоро наряженная елка будет стоять на Шеппсбрун раньше, чем закончат ходить летние паромы).

Он жаловался на вечерние газеты (зачем народ читает столько дерьма?) и на Let’s Dance,[2 - «Танцы со звездами».] Евровидение, Paradise Hotel.[3 - «Последний герой».] А мобильные телефоны так он просто ненавидел (Вы, что, коровы? Это вечное пиканье чатов все равно что колокольчик на шее… Зачем вам это дерьмо?). Ему нравилось жаловаться. Он считал, что это нытье делает его моложе и круче (его собственные слова). И типа тот факт, что он мог в нашем присутствии употреблять слова типа «дерьмо», говорил о том, что он с учениками на короткой ноге.

После каждой чашки кофе учитель клал под верхнюю губу пластинку жевательного табака-снюса, которую потом сплевывал в салфетку и выкидывал в ведро. Кристеру нравились чистота и порядок. Даже мусор нужно было выкидывать правильно.

Когда суд над неплательщиком закончился, и мы поехали обратно в школу, учитель был доволен. Сказал, что мы показали себя с лучшей стороны. Кристер всегда был или доволен, или озабочен нашим поведением. Никогда счастлив или в ужасе. Всегда готов был дать хотя бы полбалла за вопрос.

Кристер умер лежа. Подтянув ноги к груди и закрыв голову руками, как моя младшая сестра Лина делает во сне. Он был еще жив, когда соскользнул со стола на пол, но умер от потери крови до приезда «скорой». Интересно, его жена и дети тоже думают, что все в этой жизни не так просто и что я невиновна, потому что суд пока что не постановил обратное?

2

Одежду, которая сегодня на мне, купила мама. Но я с таким же успехом могла бы надеть полосатую пижаму в стиле банды Далтонов.[4 - Банда Далтонов (Dalton Gang), также известная, как Братья Далтоны – преступная группа на американском Диком Западе в 1890–1892 годах. Банда специализировалась на банковских и железнодорожных ограблениях.] Это мой карнавальный костюм сегодня.

Девушкам нравится создавать образ. Модная красавица или серьезная карьеристка. Или расслабленная «мне-по-фигу» хипстерша с небрежным хвостом, в хлопковом лифчике без косточек и тонкой футболке.

Мама попыталась одеть меня обычной восемнадцатилетней девушкой, которая не сделала ничего плохого и случайно оказалась здесь. Но блузка топорщится у меня на груди: в камере предварительного заключения я поправилась, и теперь между пуговицами образуются дырки. Я похожа на продавщицу в медицинском

халате, которая бегает за посетителями по торговому центру, предлагая пробники косметики.

Но мне их не одурачить.

– Ты прекрасно выглядишь, милая, – шепчет мама мне со своего места. Она всегда так делает – бросает мне комплименты, как мусор, который нужно сортировать. Натужные комплименты. Я не «красивая» и не «бесподобно рисую». Мне не стоит петь в хоре или посещать драмкружок. Так что все эти фразы говорят только о том, что мама понятия не имеет, что мне действительно удается и какие мои стороны самые сильные. Но мама не интересуется моей жизнью. Поэтому ее похвалы оторваны от реальности.

Мама никогда мной особо не интересовалась. «Иди, поиграй», – говорила она, когда ей было лень спрашивать, как прошел мой день. Иди, поиграй? Я уже имею право голосовать и покупать спиртное. И уже три года как имею право заниматься сексом. Какую игру она имела в виду? Прятки с соседями? «Раз-два-три-четыре-пять-я-иду-искать»? Запыхавшийся бег по саду, чтобы спрятаться за одним кустом, в одном шкафу или за одним сломанным зонтиком в гараже. «Хорошо погуляли?» – спрашивала она, когда я возвращалась вечером домой вся пропахшая травкой. «Не могла бы ты повесить куртку в подвале, милая?» Вчера вечером я говорила с мамой по телефону. Ее голос был писклявее, чем обычно. Таким голосом она говорит, когда кто-то ее слушает или когда ей нужно что-то делать одновременно. Маме постоянно нужно что-то делать – убирать вещи, передвигать вещи, перебирать вещи, протирать пыль. Движения у нее суетливые. Она постоянно тревожится по поводу и без. Она всегда была такой. Я тут ни причем.

– Все будет хорошо, – сказала она. Несколько раз. С запинкой. Я ничего не ответила. Только слушала ее писклявый голос. «Все будет хорошо. Не волнуйся, все будет хорошо».

Сандер пробовал объяснить мне ход процесса, чтобы я знала, чего ждать. Показал мне в следственном изоляторе информационный фильм, где актеры играли подсудимых в деле о драке в ресторане. Обвиняемого осудили, но только по половине обвинений. После фильма Сандер спросил, есть ли у меня вопросы. Нет, ответила я. Но мне гораздо лучше запомнился процесс над неплательщиком

налогов на той экскурсии. Он был гораздо тише. Все говорили шепотом, а все остальные звуки звучали преувеличенно громко – кашель, хлопок двери, скрип стула по полу.

Если бы кто-то забыл отключить звук мобильного и получил смс, эффект был бы как от света, включившегося посреди сеанса в долби-кинотеатре. В полной тишине подсудимый, мухлевавший с налогами, сидел и поглаживал сальную челку.

Когда обвинитель зачитал, за что его обвиняют, подсудимый посмотрел на своего адвоката и возмущенно фыркнул. Помню, мне это показалось ребячеством. Почему он изображает удивление?

Обвинитель и адвокат подсудимого пообщались, что-то зачитали, повторили одно и то же два или три раза, постоянно прокашливаясь. Мне вся эта сцена показалась абсурдной. Не потому, что сильно отличалась от виденного в кино, но потому что создавалось ощущение, что всем участникам этого спектакля безумно скучно, даже преступнику трудно было сосредоточиться на процессе. Они были похожи на плохих актеров, не потрудившихся выучить свою роль.

Но Самир явно так не думал. Он сидел, наклонившись вперед, уперев локти в колени и сморщив лоб. Эта поза была призвана продемонстрировать, что он хороший ученик и серьезные вещи принимает всерьез. Самиру эти клоуны в синтетических костюмах казались самыми интересными спикерами в его жизни. Кристер же наслаждался. Судебным процессом и серьезным Самиром. Чтобы подлизываться, Самиру даже не надо было открывать рот. Мы с Амандой часто дразнили его за это. Нам нравилось дразнить его. Нравилось хлопать его по плечу, как младшего сына, забившего решающий гол в матче. «Самир все понял», – сказал Лаббе, и тот ухмыльнулся: «Именно так».

Дома у меня в тот период тоже все было хорошо. Мы с мамой разговаривали о разных вещах, и вопрос о том, во сколько я должна возвращаться домой, еще не поднимался. Мама гордилась мной, точнее собой за то, что так хорошо меня воспитала. Она хвасталась перед подружками своими эффективными методами воспитания, благодаря которым я не доставляю ей никаких проблем. Приводила в пример то обстоятельство, что я спокойно спала по ночам уже в четырехмесячном возрасте, не капризничала с едой и сама держала ложку с самого первого дня, когда мне начали давать твердую пищу. Или что в саду мне было скучно, и я сама попросилась в школу на год раньше. Что мне нравилось

ходить в школу и быть дома одной без няни.

Мама утверждала, что я сразу начала кататься на двухколесном велосипеде, пропустив стадию четырехколесного, и что никогда не приходилось поддерживать велосипед за багажник, чтобы я не упала. Я просто села на велосипед и – пуффф – поехала, а ей оставалось только идти рядом в элегантной одежде и мило смеяться.

Что именно мама делала для того, чтобы моя жизнь была проще, было неясно, но она была убеждена, что, поскольку я беспроблемный ребенок, значит, она все сделала правильно.

Сегодня в суде тоже тихо. Но совсем не так, как на процессе над неплательщиком. Сегодня здесь все притихли от важности происходящего. Важные люди ждут важных решений. Адвокаты и обвинитель боятся совершить ошибку. Даже Сандер нервничает, хотя это заметно только тем, кто хорошо его знает.

Мои адвокаты хотят доказать всем, что они хороши в своем деле. Когда Блин говорил о процессе, он употреблял выражения «наши шансы» и «наши баллы», как будто речь шла о баскетбольной команде, в которой я ведущий игрок.

Он хочет выиграть. И только после того, как Сандер прищелкнул языком, Блин заткнулся.

Сегодняшние прения начинаются с того, что главный судья прокашливается в микрофон. Ждет, когда публика затихнет, проверяет, все ли на своих местах. Мне не нужно поднимать руку и говорить «да», он только кивает и зачитывает мое имя. Кивает моим адвокатам и называет их имена. Он говорит неразборчиво, но не потому, что еще не проснулся, а потому что не прикладывает усилий. И при этом весь пыжится от серьезности, так что его уродливый костюм грозит разойтись по швам.

Судья говорит: «Добро пожаловать». Я не ослышалась. Но я не отвечаю: «Спасибо, что пригласили», потому что никто не ждет от меня ответа. Я стараюсь вести себя хорошо. Я выгляжу так, как нужно выглядеть. Не улыбаюсь, не плачу, не ковыряюсь в ушах или носу, держу спину прямо и стараюсь не выпячивать грудь, чтобы не лопнула блузка.

Председатель суда говорит обвинителю, что она может начинать. Женщина напряжена, как натянутая струна. Я жду, что она вскочит со стула, но она только придвигается к столу, нагибается к микрофону в виде трубки, нажимает кнопку, прокашливается. Готовится.

Блин рассказал мне в комнате ожидания, где мы сидели перед началом судебного заседания, что желающие присутствовать на процессе выстроились в очередь. «Как на концерте», – отметил он с гордостью в голосе. Сандер выглядел так, словно рядом с ним назойливая муха.

Но этот суд ничем не напоминает концерт. Я не рок-звезда. И собравшиеся здесь не сумасшедшие фанаты, а учуявшие падаль гиены. Запах смерти, исходящий от первых полос газет, дразнит гиен еще больше.

Но Сандер все равно настаивал на публичных прениях. Это он просил, чтобы прессу и общественность допустили на процесс, несмотря на мой юный возраст. Не для того, чтобы потешить эго Блина, а для того, чтобы обвинитель «не монополизировал процесс». Разумеется, так он делает рекламу себе, но, может, также надеется, что те, кто меня ненавидит, сменят гнев на милость, услышав «мою версию» событий. Сандер ошибается. Это ничего не изменит.

Им нравится меня ненавидеть. Они ненавидят все, что я собой олицетворяю. Как на концерте?

Сложно представить Блина на концерте живой музыки, за исключением разве что хора в Скансене. Я подозреваю, что он слушает виниловые пластинки и подпевает рекламе семейных автомобилей.

Девять месяцев назад, неделей позже стрельбы в школе, на Юрсхольме были погромы. Парни из пригородов доехали на метро до Мёрбю, пересели на автобус номер 606 и высадились на площади Юрсхольма. Чтобы показать этим свиньям. Или, как они выразились, снобам. Обычно они устраивают погромы в своих районах среди одинаковых панельных домов и безликих детских площадок, подстрекаемые «молодежными лидерами» на мотоциклах, поделившими районы на территории и устанавливающими там свои законы, потому что на работу их никто все равно не возьмет.

И когда газеты пишут «пригороды горят», на самом деле речь идет о подожженных брошенных машинах с освежителем воздуха в виде елочки, хозяева которых давно лишились водительских прав, а не о застрахованных корпоративных машинах, которые меняют, стоит зеркалу погнуться. Но в тот раз все было по-другому.

Три дня и три ночи на площади и перед домом Себастиана на Страндвэген шла настоящая война. Во второй вечер погромщиков было уже человек пятьдесят. Об этом мне рассказал Сандер. Он же показал мне фотографии. Разбитые стекла в площадных магазинах с товарами для теток. Что они стащили? Шелковые блузки? Шотландский плед? Хрустальный графин? И куда они направились после того, как их прогнали от виллы Фагерманов? К нашему дому? Они знают, где я живу? И что сделала мама? Мама, которая сказала, что нужно «как следует поздороваться и выказать уважение» первому нищему, присевшему перед супермаркетом «Кооп» на Вендевэген со своей железной чашкой и обоссанным одеялом? Что она предприняла против бейсбольных бит и коктейлей Молотова? «Здравствуйте, как у вас дела? Хороших выходных». Интересно, что мама сказала полицейскому подкреплению, которое вызвали охранять наш дом и следить за порядком в течение этих и последующих дней? «Все хорошо»? Газеты, которые мне показывал Сандер, спекулировали на тему, почему молодежь устроила эти погромы. Протестовали ли они против того, что мы с Себастианом «символизировали», олицетворением чего являлись, или просто изливали на нас свой гнев за то, что мы натворили. Был ли наш поступок настолько отвратительным? Или их бесило то, что мы были богаты, а они нет? Или им вообще не нужны были причины? Им просто нравилось все громить? А по телевизору в этот период не показывали ничего стоящего. Так или иначе, в суд их не пустили.

В зале суда почти одни журналисты. У многих при себе ноутбуки. Фотографирование запрещено. Наверно, им пришлось сдать телефоны перед входом, потому что многие держат в руках ручки и блокноты.

Несчастный художник тоже на месте. Он похож на персонажа книги Диккенса – завшивленного подростка, которому грозит виселица, или на лубочную Эльвиру Мадиган[5 - Эльвира Мадиган (дат. Elvira Madigan), настоящее имя Хедвига Антуанетта Изабелла Элеонора Йенсен – датская цирковая артистка. Она и ее возлюбленный, шведский лейтенант граф Сикстен Спарре являются самым известным в Скандинавии примером трагической любви.] в иллюстрации к старинной песенке «Печальные события происходят и по сей день». Мы пели ее

в начальной школе. Аманда плакала. Она всегда выглядела очень хорошенькой, когда притворялась, что плачет («очаровашка»), и все бросались ее утешать.

Об Аманде говорят, как о моей лучшей подруге. В газетах, на телевидении и даже в материалах моего дела за подписью адвоката ее называют моей лучшей подругой. С кем я общалась больше всего, помимо Себастиана? С Амандой. С кем я чаще всего болтала, помимо Себастиана? С Амандой. Кто стоит рядом со мной на двухстахшестидесяти фотографиях на «Фейсбуке»? Аманда. С кем я чатилась по снэп-чату два часа в день первые четыре из шести месяцев мобильного интернета, который они просмотрели? С Амандой. И кто поставил рядом с моим именем тэг #bff[6 - Best friends forever (англ.) – лучшие друзья навсегда.] в ста постах в «Инстаграме»? Аманда. Аманда. Аманда.

Любила ли я Аманду? Была ли она моей лучшей подругой? Не знаю.

3

Во всяком случае, мне было с ней хорошо. Мы все время проводили вместе. Сидели рядом в школе, вместе делали уроки и прогуливали занятия. Обсуждали девиц, которые нас выбешивали («Ничего против нее не имею, но»), бегали на соседних тренажерах в спортзале. Вместе красились, вместе занимались шопингом. Часами болтали по телефону, чатились, смеялись, как смеются в кино подружки, когда одна лежит на животе на кровати, а другая стоит в короткой ночнушке и делает вид, что поет в расческу вместо микрофона или пародирует кого-то из наших одноклассниц.

Мы вместе ходили на тусовки. Аманда легко пьянела. Дальше события развивались по однотипному сценарию. Сначала она хихикала. Потом громко ржала, танцевала, падала, снова ржала, ложилась на диван, плакала, блевала, отправлялась домой. Мне всегда приходилось о ней заботиться. Сама я же я никогда не напивалась.

Мне было хорошо с Амандой. С ней я могла расслабиться и забыть обо всем. В ее компании у моей жизни был смысл – жить ради удовольствия. И ее игра в тупую

блондинку меня забавляла. Если ее спрашивали, какая завтра погода, Аманда отвечала «флип-флоп[7 - Т. е. теплая погода, при которой можно ходить в шлепанцах на босу ногу.]». Или «сорок ден».[8 - Или носить колготки с маленькой плотностью.] Если было очень холодно, говорила «идеально для афтер-ски»[9 - Буквально: после катания на лыжах.] и приходила в школу в утепленных леггинсах, луноходах и пуховике с кроличьим воротником.

При этом ее нельзя было назвать поверхностной. Конечно, о работе редактором серьезной газеты Аманде мечтать не приходилось. Она считала, что «угнетение – это ужасно», «расизм – это ужасно», «нищета – это ужасно-преужасно». Ей нравилось удваивать все определения для пущего эффекта. Хорошо-прехорошо, супер-суперклево, крошечный-прекрошечный (это уже утроение какое-то). Ее взгляды на политику и равноправие базировались на трех сериях документального сериала, который она видела по телевизору (в слезах). А когда ее окликнули во время просмотра видео на «Ютьюбе» о том, как самый толстый человек в мире впервые за тридцать лет вышел из своего дома, она отмахнулась со словами «Не сейчас, я смотрю новости».

Чаще всего мы с Амандой обсуждали ее страхи. Она наклонялась ко мне и доверительно шептала, как тяжела ее жизнь и как мучают ее проблемы с едой и бессонница (кошмарно-прекошмарно). У нее был период, когда ей, по ее словам, нужно было избегать зеленого цвета, цифры «9» и края тротуара (я просто должна, ничего не могу с собой поделать. Если не буду, я умру, на самом деле умру).

Иногда, не получив желаемой реакции, она прибегала к другим методам привлечения внимания. Притворялась, что ожог между пальцами, полученный во время жарки блинов, был шрамом от чего-то другого, о чем она «не хочет говорить», в надежде, что люди решат, что она пыталась покончить с собой. И ей даже в голову не приходило, что я могу раскрыть ее тайну другим.

Нет, она не врала, это было бы слишком простым объяснением. Ей действительно приходилось нелегко. По крайней мере, иногда. И она считала страхом боязнь опоздать на автобус, и у нее действительно была булимия, поскольку в плохом настроении она могла слопать двести граммов шоколада с орешками за один присест. Аманда была избалована. Как же иначе? Ее баловали мама, папа, психотерапевт и грум ее лошади. И речь шла не только об одежде и безделушках. Дело было в другом. Она относилась ко всем – к учителям, к родителям, ко всем авторитетным персонажам, включая бога как к своей

прислуге, вроде сотрудника на ресепшен в эксклюзивном отеле. Она ждала, что все будут ей прислуживать и решать ее проблемы – от прыща на носу и потерянной сережки до вечной жизни. Ее не интересовало, существует бог или нет, только что он обязан помочь ее кузену, заболевшему раком, потому что «его страшно жаль» и кузен «добрый-предобрый, несмотря на лысину». Она жалела людей, когда у них были проблемы, но не понимала, почему они не жалеют ее взамен.

Аманда была самовлюбленной. Она так заботилась о своих длинных до пояса волосах, как если бы это была ее больная бабушка. Люди считали ее милой. Но милой она никогда не была. Она всегда переспрашивала, когда кто-то просил кофе с молоком (ты уверена?), отчего люди чувствовали себя жирными. Она говорила вещи вроде «Мне хотелось бы быть такой же расслабленной, как ты, и не париться по поводу моего внешнего вида» или «ты действительно очень фотогенична» и ждала благодарности, не понимая, что оскорбила человека.

Разумеется, политику Аманда считала «важной-преважной». Но при этом политикой она не интересовалась. В молодежных организациях не участвовала, в лагеря, кроме религиозного, не ездила, на демонстрации не ходила. Ей бы и в голову не пришло перекрасить волосы в черный цвет, поджечь норковую ферму или прочитать отчет об озоновых дырах, умирающих кораллах и все такое прочее. Так что до Самира, которого учителя считали политически ангажированным только потому, что отца Самира пытали в тюрьме за его взгляды, ей было далеко.

Единственный политический вопрос, который заботил Аманду, это чтобы государство оплатило операцию на желудке, если она вдруг когда-нибудь растолстеет (буду весить шестьдесят кило). Она считала, что это справедливо, учитывая, сколько налогов мы платим. И под «мы» она имела в виду не маму, на руках у которой были только те наличные, которые можно было снять в супермаркете в время похода за продуктами. Их она клала на специальный счет в банке, который называла «туфельный счет». Аманда при этих словах закатывала глаза. Она считала это нелепым, потому что мама могла спонтанно заказать поездку первым классом в пятизвездочный отель в Дубае для всей семьи, но была вынуждена припрятывать мелочь, чтобы купить джинсы, не спрашивая предварительно разрешения. А почему она считала деньги отца своими и верила, что вносит вклад в экономику страны, для меня оставалось загадкой.

Во время беседы с Кристером на тему политики парой месяцев ранее, разговор зашел о Че Геваре.

– Я считаю, что убивать детей – это отвратительно, – объявила Аманда. – Хотя я плохо ориентируюсь в событиях, происходящих на Ближнем Востоке.

Самир сидел сзади нее наискосок и при этих словах он охнул. Аманда повернулась на звук.

– Я в курсе, что ты ненавидишь американцев, – сказала она, встретившись с ним взглядом.

Не помню, что на все это сказал Кристер. Помню только, что Самир посмотрел на меня. Не на Аманду, прямо на меня. Словно он считал, что это моя вина, что Аманда не в курсе, кто такой Че Гевара. И что она не может отличить Латинскую Америку от Израиля и Палестины. И что она вбила себе в башку, что Самир что-то имеет против США.

Так что о политике Аманда знала не больше героев Диснея, и порой ее трудно было считать очаровательной, но мы не обсуждали политику. У меня от нее болела голова, а Аманде не нравилось говорить о том, в чем она не разбирается, потому что не хотела выглядеть дурой.

Но много раз, лежа на ковре в ее комнате и невнимательно слушая ее энергичное «мы-из-молодежной-комедии-в-которой-все-запрыгивают-в-открытую-машину-голос», я ловила себя на том, что думаю, что мы с ней такие разные, что это нас и объединяет. Аманда притворяется, что ей не все равно, а я притворяюсь, что мне все равно. Но обе мы притворяемся. И делаем это так хорошо, что сами верим в свое притворство.

Считала ли я Аманду тупицей? В материалах дела присутствует смс от Аманды Себастиану, отправленное за четыре дня до их смерти. «Не грусти, – пишет она, – скоро и эта весна пройдет и забудется».

Обвинитель еще не упоминал Аманду. Приберегает напоследок. Пока она сосредотачивает усилия на Себастиане. Себастиан, Себастиан, Себастиан. Она

еще долго будет о нем говорить. Все будут о нем говорить. И если кто на этом процессе и напоминает рок-звезду, то это Себастиан. Сандер показал мне фотографии, опубликованные прессой. Черно-белое фото из школьного альбома красовалось на обложках газет и журналов по всему миру, включая Rolling Stone. А ведь есть еще много других фото. Себастиан с сигаретой во рту, пьяный, с каплями пота на лбу, стоит на носу яхты, проплывающей по каналу Юргордсбрунканален. Я сижу рядом и смотрю на него. Есть еще одна фотография из той же поездки. Самир сидит рядом со мной и смотрит прочь. Вид у него такой, словно мы силой затащили его на лодку, наплевав на то, что у него морская болезнь, и вообще мы ему противны. С другой стороны от меня – Аманда. Белые зубы, загорелые ноги, голубые глаза, развевающиеся на ветру светлые волосы. Денниса на этих снимках, разумеется, нет. Но к материалам дела они подшиты. У Себастиана было несколько его фоток в телефоне. Ему нравилось снимать Денниса, когда тот нажирался. Непонятно, как до них не добрались журналисты. Там есть и снимки их с Деннисом вместе, ужратых или под кайфом. Себастиан безумно хорош на этих фотках. Деннис выглядит как обычно.

Обвинитель будет много говорить о том, что сделал Себастиан, потому что она убеждена, что все это мы сделали вместе. Не знаю, хватит ли у меня сил все это выслушать. Но я стараюсь не отвлекаться. Потому что стоит мне утратить концентрацию, как я снова слышу эти звуки.

Звуки, с которыми они ворвались в класс и оттащили меня от Себастиана. Звук, с которым его голова ударилась об пол. Этот звук все еще звучит у меня внутри. И стоит мне отвлечься, как он начинает сводить меня с ума. Я вонзаю ногти в ладони, гоню его прочь, но это не помогает. Не могу его прогнать. Мое сознание снова возвращает меня в тот чертов класс. Он снится мне по ночам. Мне снятся секунды до того, как они ворвались в зал. Снится, как я изо всех сил зажимаю ему рану, как он лежит у меня на коленях. Но кровь не остановить. Она хлещет фонтаном. Пытаться ее остановить все равно, что пытаться зажать воду из вырвавшегося из рук шланга. Вы знали, что когда кровь так хлещет из раны, руками ее не остановить? Себастиан холодеет у меня на руках. Во сне я чувствую его руки – холодные как лед. Все происходит очень быстро. Кристер мне тоже снится. Мне снится, как он испускает свой последний вдох. Это похоже на звук, с которым в забившийся сток наливают средство для прочистки труб. Я и не знала, что сны бывают такие реалистичные, что во сне можно слышать звуки и чувствовать температуру кожи, а теперь они снятся мне все время.

Я стараюсь не смотреть на людей, собравшихся в зале заседаний суда, чтобы поглазеть на меня. Даже папу я не выискивала в публике. Но мама коснулась меня, когда я проходила мимо. У ее глаз было новое, незнакомое мне выражение. Она улыбнулась мне, склонила голову набок и вытянула губы в «все-будет-хорошо» улыбку. Так же она вчера сказала по телефону. Но при этом она вздрогнула, когда наши глаза встретились, и отвела взгляд, словно чего-то опасаясь.

До того, как все это случилось, самой серьезной проблемой в ее жизни было не есть углеводы. Мама так быстро толстела и худела, что слежение за весом было ее главным занятием. Она испытывала гордость, когда брала аппетит под контроль. А теперь сидит тут.

В материалах дела все написано. О том дне. И о наших вечеринках. О том, что делал Себастиан, что делала я. И Аманда. Мама обожала Аманду. Себастиан ей тоже нравился, по крайней мере в начале, хотя теперь она ни за что в этом не признается.

Интересно, верит ли мама в «мою версию». Или решает поверить в нее. Она ничего про это не говорила, а я не спрашивала. Как я могла спросить? Я не общалась лично с мамой и папой со дня моего предварительного задержания девять месяцев назад, а разговоры по телефону – это не то.

Разве это не странно? Прошло девять месяцев с тех пор, как мы с мамой и папой встречались наедине. Но даже тогда между нами была стеклянная перегородка. Мы просидели так четверть часа, а потом судья постановил, что слушания по делу о предварительном заключении будут проводиться при закрытых дверях, и родителей вместе с остальной публикой отправили домой.

Весь процесс я прорыдала. Без перерыва. Мне было плохо. Я чувствовала себя не лучше гусыни, раскормленной на паштет, и мама с папой в испуге смотрели на меня. На процессе о предварительном заключении на маме была новая блузка. Раньше я не видела ее в ней. Интересно, кем она нарядилась в тот день? Тогда еще ничего не было понятно. Тогда она еще ничего не знала. Вы, наверно, думаете, что она была наряжена мамой, которая точно знает, что это ошибка и что ее дочка ни в чем не виновата. Но мне кажется, что она нарядилась мамой, которая все сделала правильно, которую ни в чем нельзя обвинить, несмотря на все, что случилось. Тот процесс длился три дня. Я жалела, что так много плакала. Мне хотелось разбить ту стеклянную перегородку, чтобы можно было

броситься к маме и спросить о вещах, которые не имели никакого значения.

Я хотела спросить, заправили ли мою постель после того, как я ушла к Себастиану. У Тани по пятницам был выходной. Или она так и стояла неубранная до прихода полиции.

И что потом? Таня убралась, или родители запретили ей входить в мою комнату, как бывает в кино, когда комната пропавшего ребенка тридцать лет стоит нетронутая?

Мне бы хотелось, чтобы родители так и сделали и сказали мне, что все в комнате точно так же, как когда я оставила ее тем утром, что полицейские в ней ничего не тронули, что жизнь, моя жизнь до того, как это случилось, остановилась и законсервировалась, подобно мумии.

И что когда все закончится, я вернусь домой, и все будет как прежде.

Но, разумеется, такого они сказать не могли. Да и не важно, заправила мама мою постель или нет. Я уже знала, что полиция устроила обыск. Они мне об этом сказали на допросе. Они забрали компьютер, мой телефон (из больницы, заставив меня при этом назвать все мои пароли к форумам, приложениям, сайтам). Я спросила, что еще они взяли, и услышала в ответ «Почти все… айпод, документы… книги, постельное белье, одежду с вечеринки». «Какую одежду?» – удивилась я. Но они ответили как ни в чем ни бывало: «Твое платье, лифчик и трусы». Они забрали мои грязные трусы. Зачем? Мне хотелось разбить стеклянную перегородку и потребовать у мамы ответа. У мамы, не у Сандера. «Почему они забрали мои трусы, мама?» – хотела я спросить. Я не могла говорить о таких вещах с Сандером.

А что родители сделали с тем, что они не взяли? Мне хотелось знать. Интересно, постирала ли Таня всю мою одежду. Мне всегда было интересно, что она думает о своей работе. Нравится ли ей развешивать постиранное белье? Разворачивать, разглаживать, развешивать. Вешать кофты «вверх ногами» с рукавами в разные стороны, как будто они сдаются, а носки – парами, скрепив одной прищепкой, чтобы потом было легче сортировать.

Интересно, позволили ли они Тане убрать мою комнату. Интересно, при виде ножа для масла, который я всегда забывала убирать по утрам, вспоминает ли

мама меня. «Совсем недавно она была здесь, а теперь ее нет». «Мама! – хотелось мне закричать на всю комнату. – Что происходит?» Но стеклянная перегородка заглушала все звуки. И стоило мне сесть на стул, как судья попросил публику удалиться. Я не получила никаких ответов, только решение судьи о помещении меня под стражу.

Однажды, задолго до этих событий, я спросила маму, почему она никогда не спрашивает меня ни о чем важном. «О чем, например?» – спросила она, даже не пытаясь догадаться самой.

Но сегодня им разрешено присутствовать. Для них зарезервированы места – «лучшие» места в самом первом ряду рядом со мной (нас разделяют пара метров).

Мама располнела. Она по-прежнему наряжена мамой, которая все делала правильно, но, судя по всему, заедала стресс вкусностями. Наверно, набрасывалась на пасту с сыром, мясом и кетчупом. Быстрые углеводы. Учитывая то, что я натворила, ей простительно даже набрать вес. Все ее поймут. И будут презирать вне зависимости от того, стройная она или жирная.

Когда мама нервничает, по шее у нее идут красные пятна. А она всегда нервничает, когда ее просят пояснить свои слова. И тогда собеседник не может сконцентрироваться на ответе: его отвлекают красные пятна. Поэтому мама редко говорит то, что она действительно думает. Это слишком рискованно. Вместо этого она спрашивает мнение папы. И если он в хорошем настроении, то соизволяет сообщить. А если нет, то мама начинает жаловаться: «Мы больше совсем не разговариваем». Как она может переживать из-за того, что они мало разговаривают и при этом никогда не спрашивать, как у него дела, выше моего понимания. Но я ее ненавижу не за это. Я ненавижу ее, потому что она сама этого хочет. И потому что думает, что знает, что я чувствую, и не стесняется мне об этом сообщить.

«Я знаю, что ты переживаешь»; «Я знаю, что тебе страшно»; «Я знаю, каково тебе сейчас». Моя мать идиотка. «Хотела бы я быть на месте Майи». Что-то я не слышала от нее такой фразы.

4

Главный обвинитель Лена Перссон говорит и говорит. Боже милостивый, она никогда не заткнется. Вместе с ней двое полицейских, которые вели расследование. Рядом с ними адвокаты пострадавших, они требует компенсации ущерба. Перед ними тоже папки с документами – целая библиотека. На стенах два экрана – один за моей спиной, а другой – за их. Пока на них видно только экран чьего-то компьютера с иконками, как на плохо подготовленном докладе на уроке обществознания.

Родителям Аманды не разрешили сидеть за столом обвинения. Родным других тоже. Они сидят вместе с публикой. Или в другом зале, где можно следить за ходом процесса на большом экране. Наверное, не хотят сидеть в одной комнате со мной.

Сандер сказал, что в «задачи» обвинителя входит «объяснить», почему мы здесь. Рассказать, что, по ее мнению, я сделала и почему она требует для меня высшей меры наказания.

«Учитывая твой юный возраст, – сказал Сандер, – больше десяти лет тебе не дадут». Людей моложе двадцати одного года к пожизненному заключению не приговаривают. Такой закон. Но если мне дадут четырнадцать лет, то на свободу я выйду в тридцать два. Блин рассказывал, что ему и Сандеру звонят и пишут. (Блин горд тем, что не только Сандер, но и он тоже получает письма с угрозами. Это слышно по его голосу.) Он даже рассказал, что по ночам к нам в сад забираются и бросают дерьмо в дверь. Маме с папой приходится смывать его из шланга перед тем, как идти на работу. Об этом он рассказал, когда Сандера не было рядом.

Так что я в курсе. Налогоплательщики, оплачивающие зарплату обвинителя, общественность, все, кроме Педера Сандера и, возможно, мамы с папой, считают, что и четырнадцати лет тюрьмы мне мало, даже пожизненного заключения было бы мало. Им недостаточно разрушить мою жизнь. Они хотят моей смерти.

Сандер сказал, что сегодня ничего особенного происходить не будет. Но когда прокурор зачитывает имена жертв, я слышу чьи-то рыдания. Я этого не ожидала. И прежде чем, прокурор Лена Перссон закончила чтение, зал наполнился звуками. Люди рыдают в голос. Кто? Мама Аманды? Не может быть. Она бы никогда не стала так рыдать на людях. Может, они отыскали маму или бабушку Денниса? Доставили ее сюда самолетом, чтобы она могла восседать как Куин Латифа[10 - Куин Латифа – американская чернокожая певица, актриса, модель.] на Нобелевском ужине среди белых.

Этот плач похож на работу профессиональной плакальщицы. Сумасшедшей с замотанной черным платком головой, всплескивающей руками и закатывающей глаза, которая всегда оказывается в фокусе телекамер, когда какой-нибудь смертник взрывает школьный автобус с пятьюдесятью детишками. Неужели здесь оказалась такая женщина? Как ее пропустил контроль безопасности?

Только одно я знаю наверняка. Журналисты осветят эти рыдания со всех сторон уже в ближайший перерыв. Вставят в репортаж, напишут о нем в «Твиттере», добавят красочное описание женщины. Не более ста сорока знаков. А мои старые «школьные знакомые» перепостят это, добавив плачущую эмодзи, чтобы показать, что они тоже переживают. Интересно, кто-нибудь из них пришел сюда сегодня? Отстоял очередь, чтобы «переработать воспоминания» о том, что не имеет к ним никакого отношения.

Я не хочу это слышать, но я должна. Я прижимаю ладони к столу. Прокурор говорит и говорит без конца. Я жду, когда же она закончит. Она говорит что-то об Аманде, потом еще что-то о Самире, Деннисе, Кристере… Себастиане и о его отце. Председатель суда явно нервничает, теребит молоток на столе и поглядывает на охранников.

Прокурор продолжает говорить, несмотря на слезы. Демонстрирует школьные фото на экране. Рыдания стихают, видимо, охранники попросили женщину успокоиться. Горло у меня сводит, я вынуждена прижать ладонь к губам, чтобы убедиться, что это не я рыдаю. Прокурору надо бы поучиться риторике. Все ее предложения слишком длинные. Ни одно не подойдет для «Твиттера». А ведь это «резюме» того, что, по ее мнению, я совершила.

Суд продлится три недели. Услышав это от Сандера, я сначала подумала, что это очень долго. Но теперь, услышав это резюме, боюсь, что и трех недель будет мало. Я не оборачиваюсь. Сижу, опустив глаза вниз.

Об этом журналисты тоже напишут, думаю я. Что я слушала список убитых и раненых и слушала рыдания с невозмутимым видом. Им нравится считать меня бесчувственной. Чудовищем.

Это тоже доставляет проблемы моим адвокатам. И не только потому, что Блин считает, что я выгляжу старше своего возраста. Я слишком высокая, слишком сильная, у меня длинные волосы, большая грудь, белые зубы, дорогие джинсы. Я не ребенок. Сегодня на мне нет ни часов, ни украшений. Но это и не нужно. У меня на лице написано, кем я была до того, как оказалась в камере. Мое происхождение столь же очевидно, как следы от очков на загорелом лице после недели в Альпах. Когда же прокурор закончит?

Я хочу перерыв. Хочу переодеться, снять эту узкую блузку. Сандер сказал, что будет просить паузу каждый час. Уже давно пора. Я хочу выйти отсюда. Хочу оказаться в комнате, где будем только мы четверо, и Фердинанд спросит, хочу ли я кофе. Всегда кофе. Я достаточно взрослая, чтобы пить кофе со взрослыми. Только Блин не пьет кофе. Он единственный человек старше пятнадцати лет, который пьет горячий шоколад. Даже горячий шоколад из автомата в переговорной следственного изолятора. Пьет, прихлебывая своими красными губами, и опускает палец в стаканчик, чтобы собрать со дна сладкую жижу.

Мне нужно на воздух. Нужно выйти.

Я опускаю плечи. Меня мучает изжога. Вспоминаю последний завтрак дома. Что угодно, лишь бы не слушать прокурора.

Я вхожу в кухню, как обычно по утрам. Там мама и папа. Папа читает газету, мама стоя пьет зеленую гадость, которая составляет основу ее рациона. Она смешивает капусту, шпинат, зеленые яблоки и авокадо в специальном блендере-соковыжималке за девять тысяч крон. Раньше она пила особый чай, купленный в магазине американских товаров для здоровья в интернете. Запивала им каждое утро омлет из четырех белков. Раз в неделю Таня выбрасывала желтки, застывшие в холодильнике.

– Я не могу есть желтки, – говорила мама со смешком, как будто это была шутка, понятная и Тане тоже, – но, может, они тебе нужны?

У мамы для Тани есть особенный тон. Таким тоном говорят с непослушными детьми. Но только вот ей и в голову не пришло бы говорить таким тоном с моей младшей сестрой Линой или с любым другим ребенком. Один тон для ребенка, другой – для горничной. И небольшое массовое убийство это не изменит. Подняться, отряхнуть пыль и идти дальше. Моя мама неваляшка. Ее не свалить.

Она притворяется, что они с Таней хорошие друзья, что-то вроде коллег. И она все время предлагает Тане поесть. Но я ни разу не видела, чтобы Таня ела. Или пила, за исключением стаканы воды, который она быстро выпивала, склонившись над раковиной. И я не видела, чтобы Таня ходила в туалет.

Может, она какает в клумбы и писает в мамин зеленый смузи? Или сдерживается целый день? Интересно, мама вообще задумывалась о том, что Таня могла бы делать с этими желтками? Выпить их, как Рокки перед важным боксерским турниром, или сделать из них яичный тодди для своих бледных детей? Мы никогда не видели детей Тани, но мама выучила их имена по той же причине, по которой здоровалась с попрошайкой у метро. Как дела у Елены? Саша хорошо учится?

В то утро на кухонном столе стоял свежевыжатый апельсиновый сок, сыр и масло, нарезанные помидор и огурец, пахло кофе и яичницей. Яичницу я не видела, но помню ее запах. Ритуальный завтрак. Жертвоприношение. Кто-то выдернул радио из розетки. Шнур валялся рядом с разделочной доской, подобно отрубленной части тела.

Нам нужно поговорить, означала эта тишина. Они хотят серьезно говорить. Кто-то рассказал им? Полиция? Кто-то сообщил в полицию? Я не хотела говорить. Я отказывалась. Мама смотрела на меня и молчала. Я отвела глаза. Раздался звонок мобильного. Это был Себастиан.

Я обещала поехать в школу вместе. Он настаивал. Ты должна. Я не хотела. Не хочу. Но не могла оставаться дома. «Кто все это доест?» – подумала я, натягивая кеды и хватая ключи. Ключи лежали на столике в прихожей. Таня завернет все в фольгу и поставит в холодильник? Но по пятницам Таня не работает. Они успели провести обыск до того, как она вернулась на работу.

– Я опаздываю! – крикнула я маме и папе. – Поговорим вечером.

Я не собиралась с ними говорить. Никогда. Они все равно бы ничего не поняли. Слишком поздно для разговоров.

Главный прокурор Лена Перссон говорит без умолку. Я не оборачиваюсь и не смотрю на публику. Не хочу увидеть маму Аманды или еще кого-то, кто считает, что я должна умереть, но если это невозможно, то провести за решеткой всю оставшуюся жизнь. С какого перепугу им слушать рассуждения Сандера о ходе событий, доказательствах, причинно-следственной связи, умысле и прочем. Даже мне это неинтересно.

На журналистов мне тоже смотреть не хотелось. Я прекрасно понимаю, что им нужно. Они хотят создать мне образ. Детство ее было таким-то, родители были такими-то, «ей было плохо», она много пила, курила всякую дрянь, слушала вредную музыку, общалась с другими людьми, была «плохой девочкой», плевала на чувства других, воображала себя особенной.

Им неинтересно, что на самом деле произошло. Им нужно загнать меня в определенные рамки. Нужно убедиться, что у них со мной нет ничего общего. Только так эти люди смогут спать спокойно по ночам. Только тогда смогут решить, что то, что произошло со мной, никогда, никогда, никогда не произойдет с ними.

Главный обвинитель Лена Перссон («Зови меня Лена», сказала она на моем первом допросе), с вульгарными сережками (подделка, настоящие продают с бонусом в виде вооруженного телохранителя), неровно подстриженной челкой и бровями, словно нарисованными шариковой ручкой, может говорить бесконечно. У меня начинает гудеть в голове. Я снова подношу руку к губам. Блузка липнет к телу под мышками. Наверно, видны круги от пота. Перссон нервно кликает мышкой на иконку с изображением. Видно, что ей стоит огромных усилий открыть нужные папки на компьютере. Она водит туда-сюда курсором по иконке с фотографией, которую хочет нам показать.

Сандер не говорил, что будут показывать фотографии. Она уже показывала снимки, в самом начале процесса, когда же все это закончится? Мне нужен перерыв. Я смотрю на Сандера, но он меня не видит.

Лена показывает план школы. Лабиринт коридоров, класс, ближайший аварийный выход, аудиторию. На плане не видно, какие низкие потолки в коридорах. Не видно, как темно там внутри даже в солнечное майское утро. Она показывает место на плане, где находится мой шкафчик, в котором нашли одну из сумок Себастиана, показывает на двери в конце класса, выходящие во двор. В тот день они были заперты. Наверно, пытается объяснить, почему полиция не пошла этим путем (их за это критиковали в прессе), хотя это ничего бы не изменило. Все было кончено до того, как сигнал тревоги поступил в полицию. Она показывает на дверь в коридор. Она была прикрыта, но не заперта, но никто все равно ее не открыл. Мог ли кто-то, кроме полиции, предотвратить это? Как? И кто? Она меняет картинку. Теперь это чертеж классной комнаты. Я опускаю глаза. Сколько это уже длится? Кажется, целую вечность.

Зови-меня-Лена основательно подошла к обвинению. Я читала материалы и знаю, что она разрезала меня на кусочки, вытащила наружу внутренности, понюхала мои кишки. Зови-меня-Лена проводила пресс-конференции обо мне несколько раз в день все эти месяцы. Она даже проанализировала мои трусы.

Зови-меня-Лена-отвратная-прокурор-Лена-Перссон уверена, что знает меня. Это слышно по ее голосу. Каждое слово как удар камнем. Она поднимает слова как камни – один за другим. Такая самодовольная. Убеждена, что знает обо мне все. Кто я и почему сделала то, что сделала. Нет, она не показывает на меня пальцем, но в этом нет нужды. Смотрите все! Это Майя Норберг, убийца, она сидит там!

Все и так уже смотрят.

Само исковое заявление, само обвинение, в котором написано, какое преступление я совершила и какое наказание требует для меня обвинитель, занимает одиннадцать страниц и содержит подробные описания. И это еще помимо приложений с деталями о жертвах, кто они, что с ними стало, кого застрелила я, кого Себастиан и почему это все моя вина. Там есть фотографии, цитаты, протоколы допросов с людьми, которые уверяют, что знают меня, что могут все рассказать. Главный прокурор Лена Перссон потрудилась на славу. Повествование получилось подробное и логичное, и ни у кого нет сомнений в его истинности. Интересно, что имела в виду мама, когда сказала, что все будет хорошо?

5

Наконец главный обвинитель Лена Перссон умолкает. Теперь слово предоставляется адвокатам потерпевших. Они требуют компенсацию, но не слишком большую. Только один адвокат говорит дольше двух минут. После того как он замолкает, Сандер просит перерыв. На лице у судьи облегчение. Если мне не показалось, конечно. Мы выходим. С обеих сторон от меня идут Блин и Фердинанд. Сандер на шаг впереди.

Мы входим в комнату, которую нам выделили, и закрываем дверь. На двери приклеена скотчем табличка – «Ответчик». Этого от меня ждут? Чтобы я дала ответы? Все объяснила? Странно, что в суде – месте, где должна выясняться правда, – они не хотят называть вещи своими именами.

– Хочешь что-нибудь? – спрашивает Фердинанд. Я не отвечаю, жду продолжения.

– Кофе?

Я качаю головой. Белых лилий в мою ложу, думаю я. Произнеси я это вслух, и Фердинанд бы в обморок упала от шока, потому что у нее нет чувства юмора, и она считает, что я способна выдвигать такие требования. Поэтому я молчу.

Весь перерыв Сандер стоит. Стоит и ничего не говорит. В комнате есть туалет, наверно, поэтому нам ее и выделили, чтобы не нужно было ходить в туалет с остальными. Точнее, чтобы остальным не пришлось ходить в туалет со мной. Мы посещаем его по очереди. Когда подходит моя очередь, сиденье теплое.

Все молчат. Никто не пьет кофе. У Фердинанд бутылка воды. Заседание длится уже два часа. Одно только выступление прокурора заняло час и сорок семь минут.

Через двенадцать минут мы возвращаемся в зал. Блин так сильно хлопает дверью, что табличка отваливается. Фердинанд приклеивает ее обратно. Я забыла попросить разрешения сменить одежду.

Мы снова садимся на наши места, и я слышу, как папа откашливается. Сандер тоже всегда так делает. Я подавляю желание повернуться и посмотреть на него. Сосредотачиваю свое внимание на Сандере. Мы сидим рядом. Он дал мне блокнот и ручку и сказал записывать все, что мне будет непонятным, чтобы потом у него спросить.

– Это важно, – повторил он несколько раз, – чтобы все прошло как надо.

Сандер мне нравится. Но я не всегда понимаю, что он хочет сказать. Точнее, я понимаю смысл фразы, но не понимаю, что за ней стоит, не понимаю, зачем он это говорит.

Как надо. Что это значит? Что я буду довольна результатом? Я спросила, что он имел в виду, но услышала в ответ только непонятную ерунду вроде того, что суд должен узнать и мою версию и что, если в речи обвинения мне встретятся вещи, не совпадающие с моей версией, я должна их записать.

Думаю, он сам понял, как глупо все это звучит, и заткнулся. Посмотрел на меня долгим взглядом и сказал: «Если я скажу что-то, что тебя выведет из себя, напугает, разозлит или еще что-нибудь, ты должна сказать, но так, чтобы судьи и прокурор не слышали. Запиши все комментарии на бумаге, и потом мы их обсудим».

Есть еще кое-что, что я плохо понимаю. Есть вещи, о которых Сандер собирается говорить на процессе. Меня беспокоит, что он обсуждает меня в мое отсутствие с Фердинанд и Блином и остальными безликими коллегами, когда они «планируют стратегию защиты».

Они сидят за большим столом в конторе и обсуждают «стратегии», поглощая китайскую еду на вынос.

– Майя Норберг частично согласна с описанием хода событий, но отрицает свою вину, – говорит Сандер.

Я думаю, значит ли, что кто-то считает меня невиновной. Убедят ли его слова людей в том, что я не сделала ничего плохого? Может, надо записать это в блокнот и потом расспросить Сандера?

Сандер говорит, что я должна ему доверять. Что он со мной полностью откровенен. Да и есть ли у меня выбор? Я все равно не знаю, что лучше.

У Сандера есть целый набор взглядов, предназначенных для разных людей. Сосредоточенный, но скучающий взгляд, говорящий, что ничто не сможет его удивить. Таким взглядом он смотрит на спикера, давая понять, что уже заранее знает, о чем пойдет речь. Этим взглядом он смотрел на полицейских, которые меня допрашивали. И мне нравится думать, что так же он смотрит на журналистов, когда они задают вопросы, на которые он не может ответить (адвокатская тайна). Сейчас он таким взглядом смотрит на судью и на прокурора, и в его взгляде вежливая скука.

Есть еще взгляд, которым он смотрит на Блина. Например, когда Блин говорит что-то в стиле «не разбив яйца, не сделаешь омлет» или «даже сломанные часы два раза в день показывают правильное время». Это думаешь-это-смешно-нет-это-только-бесит-взгляд. А если он хочет, чтобы человек заткнулся, Сандер просто прищелкивает языком, и всем сразу все понятно.

Есть еще взгляд, которым Сандер показывает, что он разочарован, что он ожидал большего, но вынужден терпеть все это, потому что у него нет выбора. Этот взгляд ловит на себе рано или поздно каждый. Фердинанд порой получает противоположность – почти-довольный-взгляд. Но он не менее оскорбителен, поскольку по нему видно, что Сандер крайне удивлен тем обстоятельством, что она не совсем дура. Но Сандер не замечает, как Фердинанд смотрит на него. Или ему плевать.

Мне нравится, как Педер Сандер смотрит на меня. Он не хочет, чтобы я смеялась над его шутками или спрашивала его мнение о разных вещах. Ему не пришло бы в голову тайком разглядывать мою грудь. Ему интересно только то, что я говорю, и он делает свою работу. Точка.

Мне не нужно бояться, что то, что я расскажу, доставит адвокату сложности. Мне не нужно переживать из-за того, что что-то может его расстроить. Сандер относится ко мне как к взрослой, или, по крайней мере, как к человеку, заслуживающему, чтобы к нему относились как к взрослому. Думаю, этот взгляд Сандер приберегает для клиентов. И именно он и сделал из него знаменитость.

Я довольна работой Сандера.

Если бы я спросила папу, он бы сказал, что выбрал Сандера, потому что тот «считается лучшим». Сколько стоят его услуги? Вероятно, дороже, чем я могу себе представить, но об этом папа мне не скажет. Потому что это не принято, а папа всегда следует правилам того, что принято и что нет. Это не так просто, потому что мама происходит из старых денег, а папа нувориш. Они оба много о себе воображают.

Но мама, по крайней мере, выросла среди денег. Дедушка заработал много денег на изобретении инструмента, использующегося при проведении операций на коленном суставе. Он запатентовал его еще во время учебы в медицинском университете и до того, как медицинская индустрия поняла, что этот инструмент может приносить пользу. За пару лет он стал неизбежным (мамины слова). Все пользуются им «во всем мире» (мамины слова). Дедушка «зашиб большие бабки» благодаря этому патенту (мама бы так не сказала ни при каких обстоятельствах. Дедушка же часто так говорит).

Дедушка к деньгам относился так же, как к погоде. Они есть, он ими пользуется, сколько бы он ни тратил, они не кончаются, вот везение, надо не упустить момент. Может, это его отношение и сделало маму финансово зависимой. И под этим я подразумеваю, что для нее очень важно, чтобы все думали, что она богаче, чем есть, и она пытается добиться цели, притворяясь, что деньги не имеют никакого значения.

Мама обычно говорит, что старинные вещи у нас в доме достались ей по наследству. Например, часы в кухне. Она не знает, красивые они или уродливые, и когда кто-то их комментирует, смеется или фыркает и закатывает глаза и говорит: «Семейные», как будто ей приходится жить с этим наследством, чтобы предки не перевернулись в гробах.

Но на самом деле вся наша старинная мебель куплена дедушкой на аукционах Буковски, где распродавалось имущество обанкротившихся семей. Потом дедушке она надоела, и он сплавил ее нам. Но об этом мама никогда не упоминает. Не для того, чтобы кого-то обмануть. Никто и не верит, что мама та, кем она притворяется. Но она продолжает притворяться. А люди из вежливости делают вид, что верят в это притворство.

Папиным деньгам нет и четверти века. И ничем это не компенсировать. Но последний год гимназии он провел в интернате под Упсалой, так как его скучные заурядные родители из среднего класса работали на проекте по орошению пустынь в Северной Африке. И там, в интернате, он, как ему кажется, усвоил, что нужно делать, чтобы богачи приняли его за своего. Разумеется, он ошибается.

Папа боится. Боится, что все увидят его истинную сущность. В газетах его зовут финансовым маклером. Наверно, это производит впечатление на читателей. Но все, кому нужно, знают, что «маклером» можно быть до тридцати пяти лет, а потом нужно начинать зарабатывать на своем собственном капитале, а не то ты выглядишь столь же жалко, как официантка с отвисшей грудью и варикозом. «Я даю финансовые консультации», – сказал он однажды. С улыбкой, говорящей, что это слишком сложно, чтобы объяснить в двух словах. На его визитке написано «управляющий фондом». Это означает практически то же самое, что и финансовый маклер.

Мне все время говорят, что я пошла в отца. Когда я злюсь, это говорит мама, когда я получаю оценки в конце года – папа. Но скоро папе придется стать «отцом убийцы Майи – финансовым маклером». Мои поздравления.

Интересно, чего больше всего боится мама. Того, что будет со мной, или того, что уже случилось с ней? Мне все равно, но я не хочу, чтобы Лина боялась. При одной мысли о том, что ей страшно, мне становится плохо. Почти так же плохо, как при воспоминании о том, что случилось в классе.

Ночами, когда мне было трудно заснуть, я приносила Лину к себе в кровать. С ней рядом мне сразу становилось легче, особенно в последние недели. Ее волосы завивались кудряшками на затылке, и от нее хорошо пахло, даже когда она не мыла голову. Я делала вид, что мне приснился кошмар и она сама пришла ко мне в кровать. Я даже говорила ей: «Тебе приснился плохой сон. Помнишь, что тебе снилось?» Она растерянно смотрела на меня, а потом рассказывала о выдуманном кошмаре. Обычно с кучей подробностей, но без какой-либо логики. Там были мама, наш дом, новые игрушки, ленты, собака или две. Больше всего на свете Лине хотелось иметь собаку. Надеюсь, мама с папой купили ей щенка и разрешают ему спать в одной с ней постели. А еще я надеюсь, что она спит в моей кровати, что сама приходит туда по ночам, потому что там ей спокойнее.

Я стараюсь думать, что Лина еще слишком мала, чтобы понимать, что происходит. Хорошо, что ей не нужно здесь быть и видеть все это. Но это нелегко. Потому что страшно, даже когда ты ничего не понимаешь. Даже напротив – непонятное страшнее всего. Кому это знать, как не мне.

– Майя отрицает предъявленные ей обвинения. Она не считает себя виновной в чем-либо, что влечет за собой правовую ответственность. Майя не была в курсе планов Себастиана Фагермана. Он не поставил ее в известность. Поэтому ей не может быть предъявлено обвинение в соучастии в убийстве, преднамеренном убийстве, попытке убийства или подстрекательстве к убийству и непринятии мер по предотвращению преступления, влекущие за собой уголовное наказание. Майя признает, что она совершила выстрелы из оружия, описанного в материалах дела, в указанное время в указанном месте, но это было в целях самозащиты, что тоже не влечет за собой правовую ответственность.

…Подстрекательство, непринятие… Слова тренькают у меня в голове. Мне становится страшно, когда Сандер говорит так, потому что это похоже на попытку оправдаться. Мы используем странные слова и юридические термины, когда не хотим рассказывать правду. Но я хочу. Мне плевать, к чему это приведет. Самое худшее уже произошло. Интересно, Сандер планирует говорить так же долго, как прокурор? Вряд ли. Судя по всему, он уже заканчивает, а прошло всего одиннадцать минут.

Не знаю, хорошо это или плохо, но и это меня пугает. Что, если люди решат, что ему просто больше нечего сказать? Я провожу рукой по блокноту, вжимаю ручку в бумагу, но ничего не записываю. Через три минуты Сандер заканчивает.

Все события заняли не больше трех минут с того момента, как я закрыла дверь класса, и до того момента, когда прогремел последний выстрел. Полиция ворвалась в класс спустя девятнадцать минут. Сколько их вбежало в эту дверь? Полицейские, много полицейских. В грубых ботинках, бронежилетах, с автоматами. За ними виднелись врачи «скорой помощи». Один наступил мне на руку, другой меня пнул. Кто-то вырвал у меня из рук ружье и поднял с пола. Стоял адский грохот. Вокруг сновала куча людей. Они кричали? Кажется, да. Я ничего не сказала. Они забрали тело Себастиана. Сначала тело и только потом ружье. Интересно почему. Они положили меня на носилки. Накрыли одеялом. Не знаю, вынесли ли меня первой. Не думаю.

Минута, может, полторы. Столько продолжалась стрельба. Так написано в протоколе. Мне не нужно это запоминать. И все равно меня поражают эти подсчеты. Когда я думаю об этом, то иногда мне кажется, что все длилось не больше десяти секунд, иногда – целую вечность. Как в Нарнии, куда попадали через двери шкафа и, провоевав много лет с Белой колдуньей, возвращались обратно и узнавали, что отсутствовали всего пару минут.

Девятнадцать минут прошло с тех пор, как я закрыла дверь класса. Может, и так. Времени было достаточно. Если, конечно, знать, когда все началось. Не стрельба, нет, все остальное.

Полицейские и обвинение говорят, что мы все это спланировали – я и Себастиан, что мы были одиночками, обозлившимися на весь мир, но что последней каплей была вечеринка накануне, на которой и произошла последняя ссора.

А люди на улицах, швыряющие камнями друг в друга из ненависти ко мне, презирающие меня и все, что я собой символизирую, наверняка думают, что все началось с капитализма, монархии или партийного альянса, или когда мы отказались от язычества и приняли христианство, или еще с чего-то более абсурдного, что кажется им совершенно логичным.

Только я одна знаю правду. Что все началось с Себастиана. И им же закончилось. Одно из моих первых воспоминаний, не только о Себастиане, а вообще, – это как он сидит на дереве. Мы с мамой шли мимо дома Фагерманов по дороге из садика. Ему было только пять лет, но все уже тогда были без ума от него. У него были кудряшки до плеч. Он задавал самые неожиданные вопросы, приводившие взрослых в восторг. И весь кипел энергией. Все мальчики хотели с ним играть, и все девочки были в него влюблены. Даже воспитательницы ссорились из-за того, кому застегнуть ему курточку, поправить шарфик или достать болоньевые штаны для прогулки. И тогда Себастиан объявлял, кто сегодня его любимая воспитательница. Аннели будет меня одевать. Лайла будет снимать носки.

Сидя на дереве, Себастиан позвал меня по имени. Это было так неожиданно и так значительно, что от переизбытка чувств я не нашлась, что ответить. Мама, разумеется, говорила мне про дом и про то, чей он сын (шептала с придыханием: «Разве это не Себастиан Фагерман? Вы в одной группе в садике?») Как будто она уже тогда все знала. Но я помню только, что я вся затрепетала от радости, услышав свое имя из его уст.

– Майя.

Не приветствие. Скорее, констатация факта. Я не ответила. За меня ответила мама.

– Привет, Себастиан, – наверняка сказала она. – Смотри не упади с дерева. – Наверняка она добавила что-то в этом стиле. Я вырвала руку из ее руки. Не хотела, чтобы она вмешивалась не в свое дело, не хотела, чтобы она все испортила.

Неделей позже во время игры в комнате для игр мы поцеловались. Любопытно, что даже в саду мы никогда не играли, скорее миловались. С мальчиками он делал то же, что и они, играл в мяч, дрался, строил башни из кубиков и рушил их потом. Но со мной он не играл. Он трогал меня, гладил, целовал мои волосы, гладил по внутренней стороне руки, накрывался со мной одеялом и вдыхал мое дыхание, пока у меня не начинала голова кружиться от жары и недостатка кислорода. Даже в саду ему было сложно играть с девочками. Пятилетний Себастиан флиртовал со мной. Наш «роман» длился две недели, а потом мне приходилось ждать тринадцать недель, пока он снова ко мне возвращался.

Скучала ли я по нему все эти годы, когда он играл с другими, встречался с другими? Ходил в ту же школу классом старше, и только я знала, кто он, а он меня не помнил? Да, скучала.

– Ты не можешь повлиять на их мнение о Себастиане, – сказал мне Сандер уже тысячу раз. – Поэтому не думай о том, каким люди его запомнят. Думай о себе. Мы должны сделать так, чтобы на этом процессе в фокусе были те вещи, за которые тебя можно призвать к ответственности. И ничего больше.

Призвать к ответственности. Как будто это не имеет отношения к тому, что сделал Себастиан. Как будто можно вычленить, вырезать, вырвать этот кусок из общего контекста. Думаю, прокурор с этим не согласится. Зови-меня-Лена считает, что все это связано. Может, мне стоит записать в блокноте, что, по моему мнению, она права?

6

Суссе из следственного изолятора ждет меня в гараже после окончания заседания. На ней обычная форма охранника, и она улыбается во весь рот. Зубы белые до синевы. Они странно смотрятся на ее загорелом (полученном с помощью крема-автозагара) лице. Кажется, что они так и норовят убежать. Суссе спрашивает, как все прошло, но у меня нет сил отвечать. Я сажусь в машину и закрываю глаза. Мне разрешили взять с собой блокнот. Он зажат у меня в руке. Я не записала ни одного слова, только изрисовала несколько листов кругами – маленькими, большими, рядом, поверх, вокруг.

Суссе садится рядом на заднее сиденье. В глазах у нее вопрос, но она молчит. Дает мне выдохнуть. «Как все прошло?»

Когда Сандер говорил о том, что произошло в классе, я слушал невнимательно. Только когда он заговорил обо мне, я заставила себя сосредоточиться. «Майя». Он старательно называл по имени и фамилии всех участников событий, но меня называл только Майя, все время Майя.

Несмотря на то что на самом деле меня зовут Мария. Мария может быть кем угодно. Политиком, писателем, врачом. Убийцей. Майя же нет. Майя милая и безобидная. Подружка Пелле Бесхвостика из детской книжки.[11 - «Приключения Бесхвостика Пелле», Йоста Кнутссон.] Прокурор называла меня «ответчицей» или «истцом» или Марией Норберг. Но не Майей, хотя на допросе обращалась ко мне именно так.

– Важно, – пояснил Сандер (на языке Сандера это значит «очень важно»), – чтобы суд узнал настоящую Майю.

Не знаю, на что надеется Сандер. Мы все знаем, чем все это закончится. Но тем не менее в своей лаконичной речи на юридическом жаргоне он упомянул маму, папу, школу, предательство взрослых по отношению ко мне, мое нервное состояние с тех пор, как Себастиан вошел в мою жизнь, что я сама была не в состоянии справиться со своими проблемами и что мне было всего восемнадцать лет (недавно исполнилось).

Сандер назвал меня серьезной и умной девушкой, но неуверенной в себе и легко поддающейся манипулированию. Сандер устроил мне две консультации у разных психологов и заставил сделать много тестов. У него целая куча отзывов обо мне и о том, почему я сделала то, что сделала и не сделала то, что должна была, по мнению прокурора, сделать.

Мы выезжаем на шоссе. Суссе берет меня за руку. Я кладу голову ей на плечо. Учеба дается мне легко. Учителя мной довольны. Они улыбаются, когда я поднимаю руку, но никогда не вызывают к доске, потому что знают, что я в любом случае дам правильный ответ. Мне не нужно им ничего доказывать. У таких учеников, как я, особая аура. Она была у меня с самого первого класса. С того дня, когда я правильно ответила на все вопросы теста на правописание, который учительница устроила без предупреждения. С тех пор как я научилась писать красиво, хотя этого не требовалось. С тех пор как попросила больше бумаги для ответов на вопросы теста. Я была единственной, кому понадобилась дополнительная бумага.

Я была способной ученицей, и учителям нравилось думать, что это их заслуга. Они говорили, что ради таких учеников, как я, они и работают в школе за мизерную зарплату.

Но все это в прошлом. Это раньше я была образцовой ученицей. Теперь же превратилась в доказательство упадка всей системы школьного образования. Сандер может хоть всю неделю твердить, что я примерная ученица, но это ничего не изменит. На этом процессе высший балл мне не дадут. Потому что никто не поверит, что такая «способная» девочка, как я, случайно оказалась в классе среди трупов и еще смеет утверждать, что она тут ни при чем. Результаты теста на интеллект Сандер сообщал с сожалением в голосе. Для него это были плохие новости. Я же уже давно привыкла притворяться.

Я поступала как все девушки: жаловалась на усталость, притворялась, что нервничаю перед экзаменом, притворялась расстроенной, что время на ответы так быстро кончилось. «Боже мой, я не успела ответить на последний вопрос. Написала какую-то ерунду. Наверняка получу плохую отметку». Я притворялась перед учителями и друзьями, парнями и взрослыми, делала вид, что я глупее, чем есть на самом деле. Я не хотела, чтобы меня считали выскочкой, чтобы обо мне говорили: «Кем она себя воображает». Я была достаточно умна, чтобы понять, что от ума никакой пользы, только одни проблемы.

На сегодняшнем заседании Сандер ни словом ни обмолвился о тесте на интеллект. Он говорил, что я легко поддаюсь манипулированию, что я оказалась жертвой обстоятельств, что я была «не в состоянии предвидеть последствия моих поступков» и что я не несу ответственности за то, что натворили другие, и важно помнить, что мы говорим тут о «правовой ответственности». Под конец он стал говорить тише, чтобы всем приходилось напрягать слух.

– Не дайте себя обмануть, – сказал он, и при этом голос его дрогнул: адвокат Педер Сандер хотел показать всему залу, как близко к сердцу он принимает это дело. Журналистам он уже раньше сказал, что это будет «его последний и самый важный процесс». Я уверена, что он не лгал. «Я не обычный клиент», – словно говорил этот срывающийся голос. Я Майя. Напрасно обвиненная. Сандер заговорил громче. Теперь в его голосе были слышны злость и отвращение.

– Себастиан Фагерман, – выплюнул он, – единственный несет ответственность за то, что произошло.

Он сделал паузу, положил руку мне на плечо и ждал, пока все присяжные посмотрят на нас. Я и сейчас, сидя в машине рядом с Суссе, помню тяжесть его руки.

– Кто-то должен быть призван к ответу за эту трагедию. Нам нужны ответы на вопросы. Но нет никаких оснований думать, что это Майя. Она не может быть осуждена за то, что сделал Себастиан Фагерман. Но он мертв.

Папа прокашлялся. Мама заплакала. Я задержала дыхание.

Мама, папа и я прекрасно играли наши роли в этой драме. Момент удался. Сандер продолжил говорить о правовой ответственности.

Мы подъезжаем к зданию следственного изолятора. Машина притормаживает, чтобы Суссе могла показать охраннику пропуск. Я сглатываю, сажусь, выпрямляю спину и открываю глаза. Голова раскалывается от боли.

– Все прошло хорошо, – говорю я Суссе, когда мы въезжаем во двор. – Все прошло хорошо.

«Скорая помощь», больница

7

Весь район оцеплен. Когда меня несли на носилках из школы в машину «скорой помощи», я видела, как трепещут на ветру сине-белые ленты по обе стороны от дороги к школе. Я видела и другие ограждения, в кукурузном поле. Когда мои носилки задвигали в машину, я услышала еще одну сирену «скорой».

Не знаю, какой дорогой меня везли в больницу. Я ничего не видела. Я лежала на носилках под покрывалом и мечтала о доме. Все, чего мне хотелось – это попасть домой. Я воображала, что «скорая» везет меня домой и что скоро мы будем в Альторпе с его беговыми дорожками и желтыми фонарями, которые горели всю ночь («Очень практично», – говорила мама). Мы проедем мимо поля для гольфа («Прямо за углом – очень практично», тоже мамины слова), и гавани Фрамнэсвикен со свежеокрашенными лодками уже спущенными на воду и готовыми к поездкам в шхеры («Рай по соседству», снова мамины слова).

Себастиан спустил свою яхту уже три недели назад. Мы провели там Вальпургиеву ночь. Себастиан спал, я лежала рядом и смотрела в запотевшее окно. Это было совсем недавно. Я знала, что «скорая» везет меня не домой, но все равно не могла думать ни о чем другом, кроме дома. Больше всего на свете мне хотелось увидеть все то, что я так хорошо знаю: Норрэнгсгорден с крытыми теннисными площадками, пешеходную дорожку в Саммис, слишком крутую для велосипедов, школу «Васа», каменистые тропы в Экудден, узкий пляж в Барракуде, деревья на Слоттсбакен, гамак, который папа купил неделю назад. Только бы снова увидеть все это. Притвориться, что ничего не случилось. Но в «скорой» не было окон, и мы стремительно удалялись от родных мест.

Школа закрыта? А как же праздник окончания учебного года? Отменят? Аманда так о нем мечтала. Она планировала свою выпускную вечеринку последней. Я должна была произносить речь. Ты должнадолжнадолжна. Что теперь будет с ее праздником? Аманда же мертва! Я слышала, как она умерла, слышала, как они

все умерли, все до единого, они мертвы, не так ли? Я видела, как они умерли. Все, кроме меня. Хотя совсем недавно были живы.

Сколько времени? Прошло не так много часов с тех пор, как кончилась вечеринка, и мы с Себастианом шли мимо площади Юрсхольмсторг. Мы с ним все обсудили, больше говорить было не о чем. Он шел впереди меня, не желая идти рядом. Я заметила, что рекламный щит перед булочной опрокинулся. Они его что, оставляют на ночь? Было тепло, ночь выдалась настоящая летняя. Всю неделю погода была неровная. Я переживала, что к каникулам она испортится. Я шла босиком по асфальту, потому что ноги болели от каблуков. Я пыталась дотронуться до Себастиана, но он меня отталкивал. Но все равно я решила, что он уже успокоился. Вид у него был спокойный. Это было всего несколько часов назад. А теперь он мертв?

Та ночная прогулка. Мы шли по аллее Хенрика Палме. Было светло, как днем, но не видно ни души. Мы думали о том, что скоро придется ехать в школу и снова видеть их всех. Денниса, Самира и других. Но в тот момент мы были одни. Никто не шел за нами, впереди или рядом. Особняки возвышались по обе стороны дороги. Машины стояли в гаражах, запертых на замок, с включенной сигнализацией.

Юрсхольм казался покинутым. Даже птиц было не слышно. Абсолютная тишина. Словно в первые минуты после атомного взрыва, подумала я. Почему меня посетила такая мысль? Тогда или сейчас, когда я вспоминаю эту прогулку. Сейчас, когда все кончено. Все.

Всю дорогу в больницу я лежала на носилках и вслушивалась в тишину. Через какое-то время снова раздался вой сирены в отдалении. Сирена означает спешку. Разве не все кончено? Кто-то еще жив?

– Разве не все мертвы? – спросила я полицейского рядом со мной. Думаю, это он нес меня. Он не ответил. Даже не удостоил меня взглядом. Он уже тогда меня ненавидел.

Персонал больницы в резиновых перчатках раздел меня и рассовал одежду по разным мешкам. Несколько часов мне не давали мыться. Я была у трех врачей и

четырех медсестер, пока мне не разрешили пойти в душ. Я включила только горячую воду. Встала под струи, не чувствуя боли.

Но запах крови остался. Дверь в ванную была открыта, занавески там не было. Женщина-полицейский следила за каждым моим движением.

Они сделали все возможные анализы. Скребли у меня под ногтями, совали в меня металлические инструменты, брали соскобы и мазки. Они оставили меня в больнице на ночь, хотя со мной все было в порядке.

Только потом я поняла, что разговор с полицейскими на самом деле был допросом. Только потом я поняла, почему мне нельзя было общаться ни с кем, кроме полиции, и почему медсестры и врачи говорили «нам нельзя с вами это обсуждать», причем равнодушным тоном без тени сочувствия. Только потом я поняла, почему мне разрешили встретиться с родителями только спустя много часов.

Рядом с кроватью сидела еще одна женщина-полицейский с электрической дубинкой. Я разделась и легла в постель и, лежа в кровати, спросила ее о родителях. Я не знаю, почему спросила. Мои мама и папа, они мертвы?

Она явно занервничала. Позвонила по рации. Вошла первая женщина-полицейский. У нее была мальчишеская фигура, химическая завивка, как из восьмидесятых, и диктофон. Сузив глаза, она спросила, почему я решила, что мама с папой мертвы. Почему мне нужно это знать?

Почему? Почему? Почему? Я тогда не поняла, почему их так удивил мой вопрос. Только потом я все узнала.

Полицейские по очереди меня охраняли. Маму с папой пустили ко мне на пять минут. Была уже ночь. Их сопровождал еще один полицейский.

В мою крошечную палату набилось шесть человек. Мама присела на краешек кровати. Они ничего не спрашивали, ничего в стиле «что произошло?», или «что ты натворила?», или «как ты себя чувствуешь»? Она не сказала, что все будет хорошо, не сказала, что, по ее мнению, мне надо делать, чтобы не умереть,

потому что я сказала, что умру, что хочу умереть. Мама только сидела и плакала. Я и раньше видела, как она плачет, но никогда так сильно. Это словно был другой человек. Она выглядела смертельно напуганной. И я знаю, что ее так напугало. Это я. Мама не отваживалась задавать мне вопросы, потому что боялась моих ответов.

Возможно, полиция (или Сандер) посоветовал им не задавать вопросы и не говорить о том, что мне предстоит. Но мама и так никогда не говорила мне что делать. Она только морщила гладкий от ботокса лоб и «рассуждала вслух». Среди всех маминых ролей чаще всего она играла роль Заботливой Матери. Той, что хочет показать своей дочери, что та достаточно зрелая, чтобы брать на себя ответственность.

Не потому что она на самом деле так думает, а потому что хочет, чтобы другие видели ее такой. Но это был не лучший момент демонстрировать свои материнские достоинства. Неподходящее время, неподходящее место. Папа встал за ней и тоже плакал. Я никогда раньше не видела, чтобы он плакал. Даже на похоронах бабушки.

– Я позвонил Педеру Сандеру, – сообщил он. Констатировал факт.

Я знала, кто такой Педер Сандер. Все о нем слышали. Его имя мелькает на страницах газет, да и по телевизору его показывают время от времени в связи с процессами над детоубийцами и насильниками. И даже в бульварных газетах можно найти его фото с нобелевской церемонии или ужина в королевском дворце по личному приглашению монарха или кинопремьеры. Он часто выступает на телевидении в качестве эксперта по вопросам судопроизводства и комментирует процессы, в которых сам не участвует.

Это даже забавно. Единственный адвокат, о котором я слышала, единственный настоящий, не из фильма с париками и «Я протестую, ваша честь», а прямо из зала суда, друг короля – главного притворщика из всех.

Я кивнула.

Мама тоже кивнула. Высморкалась и кивнула. Истерический кивок. Может, они дали ей успокоительное? Боялись, что у нее будет срыв или что она наговорит лишнего? Я боялась, что если открою рот, то начну кричать и не смогу

остановиться. Так что я держала рот закрытым, кивала, качала головой, кивала.

Только это. Держать рот закрытым. Не разговаривать.

Папа сделал шаг назад, и внезапно мне показалось, что он ждет от меня благодарности, что сейчас он понизит голос на пол-октавы, как делал в детстве, и спросит: «Что нужно сказать, Майя?»

Но этого он не сказал. Просто вышел из комнаты.

Мне кажется, они могли задержаться подольше. Полиция жаждала услышать доверительную семейную беседу. Но этого не произошло. Они просто ушли. Думаю, им не хотелось задерживаться.

Перед уходом мама обняла меня, сжала мои руки, вонзив в кожу ногти. Я наклонилась вперед, чтобы ответить на объятие, но слишком поздно, она уже выпрямлялась, и я ударилась ключицей о ее плечо.

Будь я помладше, она, наверно, поцеловала бы меня в лоб или что-то в этом стиле. Но это было не к месту. Отодвинувшись, я увидела, что глаза у мамы красные, как у лабораторной крысы. От рыданий смазался макияж, но она не стала его обновлять. Одно это говорило о том, что она в ужасном состоянии.

После их ухода пришла медсестра с двумя таблетками для меня. Таблетки лежали в пластиковой чашке. Я положила их в рот, поболтала во рту, запила водой из кружки.

Медсестра ушла, оставив дверь открытой. Со мной остались две женщины-полицейские в униформе. Одна рядом с кроватью, другая перед палатой.

Они ждали, что я попытаюсь покончить с собой, будучи не в силах вынести стыда за то, что я натворила. Но этого я тоже тогда не понимала. Сглотнув, я сказала ей вслед: «Спасибо». Хотя ждали от меня, наверно, «простите».

Я должна была умереть, но не умерла. Я жива. Простите. Мне очень жаль. Я не хотела. Я хотела умереть, клянусь.

Не знаю, удалось ли мне заснуть в ту первую ночь. Не думаю. Но мне удалось держать рот закрытым. Я не кричала.

На следующее утро ко мне пришли двое полицейских. Обследование было закончено. Я не пролила ни слезинки.

Тощая женщина-полицейский с химической завивкой пришла в компании с молодым мужчиной, который смотрел на меня в упор. Он стоял немного позади. Может, он тоже охранял мою дверь. Вид у него был такой, словно он только что проснулся. Его взгляд был прикован ко мне. Сначала я хотела уставиться на него в ответ и смотреть, пока он не отведет глаз, но не нашла в себе сил на это. Я была усталой. Хотелось спать.

Полицейские сказали, что спешки нет, но все равно присели. Зашел врач с бумагой, которую полицейские подписали. Переодеваться не надо, сказали они, можно ехать в больничной одежде. На месте мне дадут новую. Мою одежду, сотовый, ноутбук, айпод, ключи от дома и школьного шкафчика они забрали.

Я спросила, можно ли пойти почистить зубы. Мне разрешили, но женщина с перманентом пошла со мной. Она отвернулась, когда я стянула трусы, большие больничные трусы, чтобы пописать, но следила за моими движениями в зеркале.

Я не спрашивала, сколько мы будем отсутствовать. Прежде, чем мы вышли из палаты, полицейские достали наручники и нацепили мне на руки. Они вставили палец между рукой и браслетом, чтобы убедиться, что они не сильно жмут. Потом на меня надели ремень и к нему прицепили наручники. Я знала, что домой меня не отпустят. Но не знала, что со мной будет. Только тогда я начала понимать, куда меня повезут. И самым сильным шоком были наручники.

– Это необходимо? – спросила я. – Я же только…

Я хотела сказать, что я ребенок или подросток, но передумала.

Перед больницей толпились журналисты. Прямо перед дверью было четверо мужчин с камерами и четверо женщин с мобильными, прижатыми к уху. Еще тройка стояли в нескольких метрах.

При виде меня они не кричали, но резко повернулись к двери. Собака дедушки начинает скулить, как только видит, что дедушка надевает резиновые сапоги. Я была для прессы такими резиновыми сапогами. Шум от камер доносился со стороны. Они встали подальше, чтобы не мешать мне, подумала я сначала.

Пока я ждала, когда полицейский в гражданской одежде откроет заднюю дверь серой машины, один из журналистов спросил, как я себя чувствую. Он спросил очень тихо, почти шепотом. Я даже не заметила, что он был так близко. Я вздрогнула.

– Спасибо, хорошо, – ответила я на автомате. Это просто вырвалось. Я забыла держать рот на замке, и это было хуже крика. Я сразу поняла, что совершила ошибку. «Точнее…» – начала я, но, увидев сузившиеся глаза журналиста, заткнулась. Ему было плевать на мое самочувствие.

Женщина-полицейский взяла меня за руку, давая понять, что не стоит общаться с журналистами.

– Твои друзья мертвы… – начал журналист.

– Если ты сейчас не заткнешься, – пригрозила полицейская с перманентом. Вид у нее был такой, словно она сейчас его ударит. – Своими вопросами ты мешаешь расследованию. Понятно?

Позже я поняла, что она боялась, что журналисты раскроют мне то, чего я еще тогда не знала. Но в тот момент я решила, что она злится на меня за то, что я ответила журналисту, и я покраснела. У меня не нежная фарфоровая кожа, покрывающаяся нежным румянцем, нет. Я становлюсь красной, как томат, мне трудно дышать, на лбу выступают капли пота. Но я все равно сделала вид, что все в порядке, и выпрямила спину. Пока полицейская с мальчишескими бедрами и квадратными ногтями рылась в карманах в поисках ключа, а журналист пытался осознать, чем ему грозит любопытство, налетел порыв ветра и растрепал мои распущенные волосы. Куртка, которой мне прикрыли руки в наручниках, упала на землю, и глазам журналистов предстала я в мешковатой больничной пижаме, без лифчика, с торчащими от холода сосками. С наручниками, закрепленными на поясе, я выглядела так, словно вот-вот начну махать публике, если можно считать публикой дюжину заспанных журналистов с нечищенными зубами во вчерашней одежде. Так я стояла, пока полицейские не

усадили меня в машину.

Когда я села в машину, у меня ныло все тело. Одежда жгла кожу. Я вся вспотела. Кожа горела так, как будто ее обожгло крапивой или кипятком. Меня начало трясти. Я схватилась за ремень безопасности, я отвернулась от Завивки и не дышала, пока мы не выехали с парковки. За нами на расстоянии следовали три автомобиля. Я не видела, как газетчики звонят в редакцию, не видела, как пересылают фотографии, но прекрасно понимала, что они сейчас делают.

Фото меня. Майи Норберг. Избалованной богатой шлюшки, сумасшедшей убийцы. Убийцы. Майя Норберг сумасшедшая и убийца. Иначе зачем полиции перевозить ее в наручниках? Это дело нескольких минут, чтобы мои фото в наручниках во всех ракурсах украсили первые полосы сайтов газет. Полицейская с перманентом успокоилась довольно быстро. Преследователи ее не беспокоили. Она сунула пластинку снюса под губу, подвинула назад языком. Предложила пачку мне, я отрицательно покачала головой.

Боже мой, подумала я. Неужели нам придется с ней близко общаться? Почему я только не попросила таблетку от головной боли перед отъездом? Я ничего не ела за завтраком. Внезапно я поняла, что голодна. Когда я ела в последний раз? Наверно, вчера. Но я помню только, как курила на балконе с полицейским. Когда я спросила, они ничего не ответили. Потом они долго выбирали подходящий балкон и еще дольше искали сигарету, но моя просьба их не удивила. Больше мне не нужно курить тайком. Массовое убийство все изменило.

Но завтракала ли я сегодня? Нет? Обедала вчера? Нет. Ужинала? Тоже нет.

Я прижалась лбом к стеклу и закрыла глаза. Жаль, что я не помахала журналистам. Тогда Сандер мог бы потребовать признать меня невменяемой.

Судебное заседание по делу B 147 66

Обвинитель и другие против Марии Норберг

8

Все судебные процессы проходят по одной схеме. Существуют правила – кто и в каком порядке будет выступать. Сандер мне все объяснил. Я внимательно его слушала. Не хочу сюрпризов, хочу быть готова ко всему.

На следующий день мы снова встречаемся в комнате, на двери которой должно было бы быть написано «Убийца». На часах еще нет половины десятого, но кто-то из адвокатской конторы уже принес ланч с рынка Эстермальмсхаллен. Даже холодный, он выглядит в миллион раз лучше того, что я ем вот уже девять месяцев подряд.

На столе рядом с термосом с кофе лежит кучка мятных шоколадок, пластиковые упаковки молока и кубики сахара. Я завтракала всего два часа назад, но все равно ем шоколадки, сворачиваю шарики из серебряной фольги и строю из них пирамиду. Я не спрашиваю, хочет ли кто-то еще шоколада, я спрашиваю, можно ли покурить. Сандер просит меня воздержаться (типичное сандеровское словечко), потому что стоит нам выйти из комнаты, как на нас накинутся журналисты, и это «неразумно из соображений безопасности».

Фердинанд спрашивает, не сгодится ли мне снюс. Разумеется, она употребляет снюс. Наверно, подмышки она тоже не бреет.

Я знаю пару охранниц из следственного изолятора, которые тоже убеждены, что снюс и небритая промежность – это непременное условие борьбы за права женщин, а запах пота – признак природной красоты. Фердинанд их сильно напоминает, но она хорошо образованна. И снюс у нее элитный, а не обычные одноразовые пластинки.

– Нет, спасибо, – благодарю я. – За последние девять месяцев мне столько раз предлагали снюс, сколько другим женщинам не предлагают за всю жизнь.

– Разве ты не знаешь, что курение вредно? – шипит Блин мне в ухо. – Это приводит к преждевременной смерти.

Я не знаю, шутит он или нет.

Прокурор сегодня будет говорить о моей смерти. О том, что мне следовало умереть. Вот что она собирается сказать: мы с Себастианом решили отомстить всем, кто нас предал. Мы поехали в школу с бомбой в одной сумке и с ружьем в другой, чтобы убить как можно больше людей. Стрельба закончилась смертью Себастиана. Я тоже должна была умереть, но не умерла, хотя обычно при расстрелах в школах живых не остается. Безумец или безумцы решают отомстить своим одноклассникам, стреляют по всем подряд, пока не прибудет полиция, а потом или кончают самоубийством, или убивают друг друга, или вызывают на себя огонь полицейских.

Если только они не струсят, разумеется. Только трусы выживают. И вот я тут сижу, живая-живехонькая, в Стокгольмском суде, перед залом номер один. Жалкое ничтожество, как утверждает прокурор.

Я решаю не отвечать Блину. Охранник открывает дверь и сообщает, что можно идти. Сандер собирает свои вещи, а я в последний раз собираю пирамиду из серебристых шариков. Фердинанд снова спрашивает, не хочу ли я снюс. Я качаю головой. Видимо, вид у меня такой, словно я умру без никотина.

– Никотиновая жвачка! – восклицает она, счастливая от того, что ее осенила эта гениальная идея.

Фердинанд начинает рыться в своей гигантской сумке, но тут Сандер прищелкивает языком. Он ни за что в жизни не позволит, чтобы я жевала жвачку во время заседания суда. Мы проходим в зал.

У Зови-меня-Лены раскрасневшиеся лоснящиеся щеки. Наверняка ее день начался с пресс-конференции на ступеньках здания суда. Погода стоит отличная. Прохладно и солнечно. Я готова поспорить на деньги, что она обожает пресс-конференции на лестнице.

Очень важная персона в очень интересном фильме.

И наверняка она пришла сюда сегодня пешком, потому что движение – это жизнь. Уверена, Лена Перссон поднимается по лестнице вместо лифта и считает, что это позволяет ей спокойно слопать две булочки или одно пирожное с марципаном за чашкой кофе на работе. Зови-меня-Лена похожа на человека, который покупает гособлигации и имеет пенсионный вклад. Наверняка она закончила университет без единого кредита (долги лишают свободы). И мне не нужно сильно напрягаться, чтобы представить ее квартиру в доме коттеджного типа: сосновые панели в гостиной, ловушки для снов над кроватками детей, самая большая в Швеции коллекция керамических лягушек в стеклянном шкафу. Сейчас ее очередь выступать. Я ненавижу главного обвинителя Лену Перссон.

После девяти месяцев газетных статей и телевизионных программ, где всем, всем без исключения, кроме меня, дали выговориться, дали выплакаться в прайм-тайм, все, кроме меня, предоставили право проводить пресс-конференции на любой лестнице, тогда как на меня, моего адвоката и мою семью был наложен запрет на публичные высказывания.

А теперь, как прокисшие сливки на отравленном диоксином лососе, очередь обвинителя выступать. Она будет рассказывать историю о серийной убийце, которая собиралась застрелиться, но не осмеливалась. Трусихе, не готовой отвечать за последствия своих поступков, надеющейся, что ей удастся избежать правосудия.

Обо мне.

Сандер может до хрипоты объяснить, но я все равно не понимаю, почему она начинает первой. Один или два дня она будет поливать меня грязью. А потом, когда мы закончим, ей снова дадут слово. И тогда она вызовет свидетелей – одного за другим. И все они убеждены в том, что я настоящее чудовище.

Сегодня, и, наверно, не только сегодня Лена Перссон королева. Трибуна принадлежит ей. Мама так бледна, что кажется, ее лицо намазано белилами. У папы на лбу выступили капельки пота. Сандер полностью расслаблен. Но только меня нет в списке приглашенных на эту вечеринку с коктейлями. Я главное блюдо. Это меня они будут есть, в мою плоть будут втыкать лопатки для торта. Мы будем слушать. Смотреть фотографии, рисунки, оружие, протокол. Читать мои мейлы. Мои смс. Мои посты на «Фейсбуке». Изучим историю звонков, содержимое моего компьютера и моего шкафчика в школе.

Мы будем читать записи на обратной стороне обложки учебника, цитату из стихотворения, которая звучит: «Когда больше нечего ждать и нечего терять». По мнению Лены, она свидетельствует о желании умереть.

На следующей неделе Лена Перссон вызовет свидетелей, которые «расскажут все». И если бы она могла решать, она бы непременно устроила так, чтобы мое нижнее белье послали по залу, чтобы все могли его понюхать.

Меня запускают в зал последней. Я сажусь на свое место и смотрю в стол. Слава богу, у меня нет возможности поговорить с родителями. Им нельзя со мной говорить, нельзя обнимать меня, поправлять мне волосы. Блину бы эта сцена понравилась. Он знает, что журналисты следят за каждым моим шагом, и эта сцена пошла бы нам на пользу. Ему бы понравилось, если бы мама пригладила мне челку и убрала прядь волос за ухо. Она всегда так делала. Если бы только журналистам удалось поймать момент, когда она это делает. Большой палец и указательный, волосы за ухом, можно даже сделать видео и выложить на «Фейсбук». Фото с одним мотивом на протяжении тридцати лет. Видео тающих ледников. История, как молодая и красивая девушка подсаживается на кристаллический метамфетамин и за два года превращается в беззубую старуху. Картинки сменяют друг друга. Майе поправляют челку. Сначала у нее на голове младенческий пушок, потом локоны, потом первая самостоятельно подстриженная челка в садике, первая краска без маминого разрешения, первое причастие, праздник середины лета, Люсия, косички с потерянными резинками, отросшие волосы, вымытые тюремным шампунем, не видевшие ножниц одиннадцать месяцев.

Журналисты будут смотреть, как мама будет со мной нянчиться. Блин обкакается от счастья. Я сижу на своем месте и думаю о всякой ерунде.

Лена Перссон включает микрофон. В динамиках трещит.

– Добро пожаловать, – говорит председатель суда с обвиняющими нотками в голосе. Он уступает трибуну обвинителю. У Лены от волнения красные щеки.

– Ответчица обвиняется в соучастии в убийстве, поскольку не попыталась предотвратить расстрел. Вместе с Себастианом Фагерманом… – читает она вслух текст.

Почему она это зачитывает? Ей что, сложно было запомнить, в чем меня обвиняют? Разве это возможно – быть главным обвинителем и при этом дурой?

– Это убийство было спланировано Норберг и Фагерманом совместно, как и атака на учащихся гимназии Юрсхольма в кабинете номер 412 в то же утро.

Лена откладывает бумаги, снимает очки для чтения.

– Я собираюсь подробно изложить, как ответчица активно принимала участие в подготовке и осуществлении убийства.

– Мы выступаем последними. Это нам на руку, – сказала Фердинанд.

Она, естественно, ошибается. После выступления обвинителя у публики просто не останется сил слушать нас. Никто не будет слушать или смотреть на меня. И что можно с этим поделать? Ничего.

И что бы мы ни говорили, никто не поймет, что мы хотим сказать, никто не поверит, что мы играли разные роли в одной пьесе. Сандер расскажет «мою версию событий», но будет слишком поздно. Судьи уже примут решение.

Обвинитель трещит о том, что мы встречались. Что Себастиан был моим парнем. Что я любила его больше всего на свете и на все была готова ради нашей любви.

Лена Перссон продолжает рассказывать, как она собирается доказывать, что она права.

– Я вызову следующих свидетелей… допрос показал… доказательства… и т. п.

Фердинанд бросает сочувственные взгляды в мою сторону. Хватит пялиться. Блин переставляет папки местами. Сиди смирно.

Я не понимаю, для чего они тут. Эти бессмысленные фигуры. Фердинанд, которой отвели роль моего алиби из низов общества. Однажды я не удержалась и спросила, каково ей меня защищать. Она так сильно занервничала, что я испугалась, что она описается от волнения. «Это уникальный процесс, – пропищала она, – я польщена тем, что мне доверили в нем участвовать, и готова

«внести свой вклад»».

Какая брехня. Фердинанд ненавидит все, связанное со мной, и этот процесс тоже. И ей не удается скрыть эту ненависть. И тот факт, что у нее слишком мало опыта, чтобы быть в этом зале, ее не смущает. Она ненавидит защищать меня, потому что вынуждена перед журналистами и коллегами Сандера изображать талантливую мусульманку из пригорода, несмотря на то что приехала из Сундсваля и крещена в протестантской вере. И она никогда не признается в том, что единственным плюсом этого процесса видит то, что мы его проиграем, и это тоже очевидно. Лена Перссон продолжает.

– Согласно протоколу судебного врача, в приложении 19 и 20, смерть Аманды Стин наступила в результате двух последовательных выстрелов, совершенных Марией Норберг из оружия номер два. Через пару секунд оружие снова стреляет. Три выстрела приводят, согласно протоколу в приложении 17 и 18, к смерти Себастиана Фагермана».

Мы соглашаемся с этими утверждениями. Это правда. Я убила их. Аманду и Себастиана. Не из любви, но я это сделала. Все остальное не важно.

9

Я бы не стала ставить на это, но каким-то чудом Лене Перссон удалось закончить свое выступление до обеда. После ланча (Фердинанд побежала раньше разогревать еду), Лена продолжила предъявлять письменные доказательства. Протоколы вскрытия, полицейские рапорты, странные карты, снова рапорты, результаты анализов, распечатки, справки, выдержки… мне сложнее и сложнее слушать речь прокурора. Лена Перссон зачитывает вслух, цитирует, повторяет… голос у нее усталый, под конец почти охрипший, но она почему-то не прокашливается.

Сам иск занимает только одиннадцать страниц, но Лена говорит бесконечно. Создается ощущение, что их не одиннадцать, а одиннадцать тысяч. Материалы дела тоже занимают немало страниц. Мне слова не дают, но я должна сидеть

здесь и слушать. Это такая пытка. Стараюсь не слушать уродливую Лену.

Она зачитывает наши смс. Те, что я отправляла Аманде, Себастиану, Самиру. Те, что писали мне Себастиан и Аманда. И Самир, конечно. На экране она демонстрирует нашу переписку. С удовольствием зачитывает вслух. Ей это нравится.

Я помню, как Аманда однажды показала мне письмо, которое перед смертью написала ее бабушка. Там были инструкции, как ее хоронить. В какую одежду нарядить в гроб, какую музыку играть в церкви. Помню, это должно было быть какое-то классическое произведение в исполнении хорового квартета. Нам с Амандой оно было незнакомо. Но проблема заключалась в том, что, когда умерла лучшая подруга бабушки, на ее похоронах уже исполнялась та же самая композиция, так что бабушке пришлось бы придумать что-то новое. Разумеется, она музыки этой не услышит. Да и подруга уже мертва. Но все равно бабушка Аманды не хотела обезьянничать.

Поразительно, что все хотят быть оригинальными даже в смерти. И какая-нибудь простенькая песенка не годится. Это должно быть что-то особенное и незабываемое. Чтобы не войти в вечность под звуки банальных гитарных аккордов «Слез в раю» (Tears in Heaven). Как и положено на «оригинальных» похоронах. Люди жалки даже в вопросе смерти. Какая уж тут оригинальность.

Теперь Аманда мертва. Аманда, Себастиан и другие тоже. На их похороны меня не отпустили. Не дали разрешения. Но я все равно хотела знать, когда они состоялись. Сандер мне сообщил. Он был не в курсе только деталей похорон Себастиана, потому что они организовывались в тайне.

Интересно, изъявлял ли Себастиан какие-нибудь пожелания по поводу похорон. Скорее всего, нет. Он говорил только о смерти, никогда о том, что будет после. У Аманды же наверняка была куча идей, какими должны быть ее похороны. Но ей и в голову не приходило, что они случатся так скоро.

Должно быть, было сложно организовать похороны Себастиана. Ни приглашений не разослать, ни объявления в газете не дать. Никаких тебе «Пожалуйста, не приносите цветов. Лучше сделайте пожертвование “Врачам без границ”». Но что-то же они наверняка сделали. Скромную церемонию в присутствии самых

близких, только кто эти близкие, если ни я, ни его отец, присутствовать не могли. Была ли там музыка?

Какие-нибудь из любимых мелодий отца Себастиана? Которые он слушал постоянно. Preacher takes the school. One boy breaks a rule. Silly boy blue, silly boy blue. Интересно, как они его одели? Других наверняка похоронили в «любимой футболке», потому что считается, что у всех молодых парней есть любимая футболка. Но Себастиана наверняка положили в гроб в костюме. Майлис пришлось его купить. Дорогой неброский костюм, подходящий для кремации убийцы.

Наверно, они сразу захоронили его на кладбище или рассеяли прах по ветру над морем, чтобы не пришлось ставить могильный камень, который могут разрушить вандалы.

Интересно, присутствовала ли на похоронах мама Себастиана, обычно проводящая время в частной клинике в Швейцарии, или на благотворительных проектах в Африке, или где там она еще проводила время вместо того, чтобы быть с сыном, которому становилось все хуже и хуже.

Я словно вижу ее перед собой. Огромные солнечные очки в пол-лица, прямая спина, тонкая, почти прозрачная от многочисленных подтяжек кожа. С оранжевым пионом для крышки гроба в руках. Она никогда не принесла бы розы на похороны. Розы – это слишком банально.

И до нее не доходит, что гигантские очки – это совсем не стильно и старухи в них похожи на навозных мух.

Когда обвинитель Лена Перссон демонстрирует фото из классной комнаты, папа начинает ерзать на сиденье. Даже не оборачиваясь, я знаю, что это он. Потом она демонстрирует видео с камеры наблюдения перед домом Себастиана, на котором видно, как я несу из дома в машину сумку и сажусь на пассажирское сиденье. Все смотрят не дыша. Видно, что сумка тяжелая (она действительно была тяжелая). Ее потом нашли в моем шкафчике. Но бомба так и не взорвалась. Она была любительская и не смогла бы сработать, согласно выводам экспертов, но их Лена не цитирует, потому что они не вписываются в ее картину мира, в которой мы предстаем монстрами, способными на все.

Тем утром я ушла, не попрощавшись с Линой. Она спала. Наверно, ей не нужно было рано вставать. Но мне жаль, что я не зашла к ней посмотреть, как она спит. Мне нравится смотреть на нее, спящую (Лина всегда спит на животе, сжав ручки в кулачки). Я пытаюсь вспомнить, когда в последний раз ее видела, о чем мы говорили, во что она была одета, как выглядела, но ничего не могу вспомнить.

Папа взял отпуск на три недели, чтобы присутствовать на процессе. Интересно, у него тоже отобрали телефон на контроле безопасности? Интересно, где Лина? У дедушки? Интересно, что он обо всем этом думает. Разговаривает ли он с Линой? Рассказывает, где я? Когда бабушка была жива, дедушка постоянно ей что-то рассказывал, а она задавала наводящие вопросы, чтобы дать ему выговориться. Не потому, что ей было интересно то, о чем он говорил, а потому что она знала, что ему нравится все подробно объяснять.

С уходом бабушки дедушка стал сам не свой. Мы продолжали задавать наводящие вопросы, но это было не то. Смерть жены подточила его силы. Уже на похоронах видно было, что у него изменилась осанка. За несколько дней он превратился в старика с дрожащими коленями и слезящимися глазами. Он больше не ходит на прогулки с собаками и не рассказывает о том, какие растения попадаются нам на пути. Не знаю, рассказывает ли он Лине обо мне. Не знаю, задает ли она вопросы. Больше всего я скучаю по Лине. Мне снится, как она кладет свою легкую, как березовый листочек, ручку мне на руку, заглядывает в глаза и спрашивает почему. Я не знаю, хочу я сказать, у меня нет ответов на ее вопросы. Я никогда больше не смогу посмотреть ей в глаза.

У меня болит шея от того, что все время приходится держать спину прямо. Когда Лена Перссон рассказывает, что мы с Себастианом написали друг другу в ту ночь, у меня возникает ощущение, что только что закончилась атомная война, и мне хочется закричать: «Да, я слышу, что ты говоришь, чертова стерва! Заткнись!»

Она снова зачитывает.

Ответчица несет вину за следующие… Она перечисляет: пособничество в убийстве… бла-бла-бла… попытку убийства, подстрекательство к убийству… Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Не меньше четверти часа уходит у нее на перечисление моих грехов. Или мне так только кажется.

Я думаю, что у Себастиана были неординарные похороны. На похоронах же Аманды они – я уверена на сто процентов – играли «Слезы в раю».

Следственный изолятор, первые дни

10

Наша первая встреча с Сандером состоялась вскоре после того, как меня поместили в камеру предварительного содержания. Я ждала его в комнате для посещений. Я сидела на одном из четырех стульев и разглядывала детский уголок с игрушками. Там были игрушечный столик, сломанная кукольная коляска, пластиковый кофейный сервиз и несколько зачитанных до дыр книг, например, «Дети с улицы Бузотеров» и «Макс и соска». Лина меня никогда не навещала и избежала печальной участи играть в тюремные игрушки.

При каждой нашей встрече мы с Сандером пожимаем друг другу руки. Так было и в тот первый раз. Тогда у меня было ощущение, что он мой гость, но мне нечего ему предложить. Я налила стакан воды и протянула ему трясущимися руками. Каким-то чудом мне удалось не пролить воду.

На первой встрече говорил, в основном, Сандер. Адвокат спросил про мою позицию по поводу предъявленных мне обвинений. Но я тогда не знала, что это за обвинения. Полиция, разумеется, сообщила, за что меня задерживают, но у меня все вылетело из головы. Не помню, что именно они мне сказали.

– Тебя обвиняют в пособничестве… – замялся он, сообразив, в каком я состоянии. У меня заплетался язык. Сандер кивнул и попросил меня успокоиться, что постепенно все прояснится, а пока можно начать с того, чтобы узнать версию полиции.

– Скорее всего, тебя обвиняют в убийстве, – признался он спокойным голосом, – но есть вероятность, что к этому обвинению добавятся и другие.

Как будто я и так не осознавала серьезность ситуации. Перед уходом он протянул мне сумку с одеждой. Моей одеждой. Видимо, он получил ее от мамы. Этого я не ожидала. Какая практичность. Только после его ухода я разрыдалась.

По возвращении в камеру я обнаружила поднос с остывшей едой. Я положила сумку на пол. Есть не стала, вежливо отказалась, когда еду предложили разогреть, легла на кровать и несколько часов лежала, глядя в потолок (они проверяли каждые полчаса, не пытаюсь ли я покончить с собой). Потом меня повели на допрос. Это снова была полицейская с химической завивкой – та же, что сопровождала меня утром. С ней был другой коллега. Сандер тоже там присутствовал. И Фердинанд. У нее были пересохшие губы и потные руки. «Эвин», – сказала она, не называя фамилии. Утренняя полицейская переоделась, но новая одежда была не лучше прежней. Меня привели в комнату для допросов.

Мне дали протоколы всех допросов, хотя я помню их до малейшей детали. Все эти дни и месяцы я только и делала, что кивала или трясла головой. Тогда я ничего не понимала, но теперь помню каждое слово.

Комната для допросов была в том же бараке, что и моя «комната», даже на том же этаже. В ней было окно с непрозрачным стеклом, сквозь которое невозможно было разглядеть, что происходит на улице. Только сплошной туман. Ноябрьский вечер в Швеции со всеми его тенями и оттенками. Или уже ночь? Но ведь на дворе июнь. «Почему не видно солнца? – думала я. – Неужели людей можно допрашивать посреди ночи?»

– Ты голодна? – спросила коллега тетки с перманентом. Почему они все время лопочут про еду? Есть-есть-есть. Неужели все преступники в Швеции страдают булимией?

Я покачала головой.

– На часах пять, – сообщил полицейский. «Пять утра?» – подумала я, но спрашивать не стала. Утро или вечер, на улице должно быть светло, ведь сейчас лето. Когда допрос закончится, меня накормят ужином, продолжил он.

Ужин. Значит, это вечер. Я не испытывала голода. Не представляла, что вообще когда-нибудь снова смогу есть.

Меня усадили в кресло. Сандер и Фердинанд и полицейские сидели на обычных стульях.

Мужчина-полицейский был не в форме, а в неглаженых, похожих на пижамные, штанах. Он представился, но имя сразу вылетело у меня из головы. Был ли он в больнице вчера? Не помню. Впрочем, внешность у него была неординарная. Волосы он не причесывал, наверное, неделю. А его харканье проникало прямо в подкорку. И запах вчерашнего табака наверняка исходил от него. Я снова спросила, как его зовут, он выкашлял свое имя, но я опять сразу его забыла. «Не важно», – подумала я и кивнула.

– Допрос записывается на видео, – сообщила тетка с перманентом и показала на камеру под потолком в углу. Вид у нее был бодрый. И, несмотря на мешковатые джинсы, видно было, что она главная в этом расследовании. Я кивнула и заметила засохшую соплю между доской и подушкой кресла. Мне стало не по себе. Я не понимала, почему меня усадили в кресло.

Я не хотела откидываться на спинку – так мне было трудно дышать. Но выхода не было, и я откинулась. Почувствовав, что у меня появляется второй подбородок, не выдержала и снова выпрямилась, сев на краешек кресла.

Тетка с завивкой часто называла меня по имени. Майя. Как будто пыталась мне что-то продать.

– Майя, ты подтверждаешь сказанное ранее? Нет? Майя?

Временами она пыталась выражать сочувствие и говорила покажи-на-кукле-где-он-тебя-трогал-голосом.

– Майя, можешь рассказать мне… объяснить, как ты во все это впуталась? Майя, ты знаешь, почему ты здесь? Я надеюсь, что ты понимаешь, Майя, что мы должны…

И снова превращалась в продавца по телефону.

– Как ты себя чувствуешь, Майя? Хочешь пить, Майя? Можем начинать? Можешь… Майя… Майя…

Я потрясла головой. Это ее смутило. Тогда я кивнула, и она снова заговорила. Достала белый лист бумаги и синюю ручку. Я ничего не поняла. Зачем они мне? Записать мои ответы? Я же не глухонемая.

Увидев мои сомнения, она начала рисовать на бумаге. Большой прямоугольник, классная комната, потом маленький прямоугольник – кафедра, потом парты. Она рисовала и задавала вопросы. Потом прервалась и стала задавать вопросы о том, что было до событий в школе. Что ты ела на завтрак, Майя? Как ты добиралась до школы? Мама тебя подвезла? Я покачала головой. Ты поехала на автобусе? Я покачала головой. Приехала с Себастианом?

Кивнула. Эти вопросы были своего рода разминкой, подготовкой к самому главному. Бег на месте. Растяжка. Разогрев мышц.

Через пару вопросов тетка сдалась.

– Себастиан был твоим парнем, Майя, – сказала она внезапно. Это был не вопрос, а констатация факта. Я не была к такому готова. Фраза прозвучала слишком банально. Интересно, будет ли она показывать фотографии убитых, как это всегда происходит в кино? Рассыплет их по столу, как карты? Нарисует контуры тел на листе бумаги? Аманда, Самир, Себастиан, Кристер, Деннис.

Я зажмурилась. И он возник передо мной. Его глаза видели меня насквозь. Его руки творили с моей кожей волшебство. Его тело, твердое и мягкое, жесткое и нежное, его аромат, его тяжесть на мне, ощущение, с которым он в меня входил… Прежде всего тяжесть его тела. До того момента, как они забрали его у меня. Унесли его тело.

Себастиан, думала я. Она хочет, чтобы я говорила о Себастиане. Только о нем.

Нет, подумала я. Только кивать. Ничего не говорить.

– М-м.

Keep your ’electric eye on me babe, Put your ray gun to my head, Press your space face close to mine, love.

Только ничего не говорить. В голове гудело. Я сжала голову руками, боясь, что она лопнет. Себастиан все время слушал любимую музыку отца.

И когда мы впервые поцеловались (не в детском саду, а по-настоящему), он назвал меня Милой Мэри-Джейн (Sweet Mary Jane). Я тогда не знала, что это тоже слова из одной из любимых песен его отца. Я как раз села на мотороллер и нацепила шлем. Он произнес эти слова и протянул мне косяк, который курил. Нижняя губа была влажной от слюны. Я покачала головой. Я знала, что мама с папой следят за нами из окна и не понимала, почему он их не боится. Спасибо, нет. И тогда он поцеловал меня. Наклонился вперед, раздвинул мне губы языком. Оторвавшись от меня, он сунул косяк мне в губы.

– Майя, – прошептал он. Я затянулась, не закашлявшись. Он дал мне сделать три затяжки, а потом снова поцеловал. Я курила травку и целовалась всего в нескольких метрах от родителей.

Что я могла сказать полицейской? Что он был моим бойфрендом? Или бывшим бойфрендом? Они бы все равно ничего не поняли.

Он часто надевал на меня наушники и включал любимую музыку отца, а потом начинал целовать меня, гладить, обнимать, не мог от меня оторваться, не мог разжать объятий, не мог меня отпустить.

Был ли он моим бойфрендом? Этот вопрос не нуждается в ответе.

– Я сказала ему, что больше не могу, – прошептала я едва слышно. – Что это должно закончиться.

Ведь именно это я и сказала на нашей последней прогулке? Или только подумала? Would you carry a razor, just in case, in case of depression?

Не помню, смотрела ли тетка с перманентом на меня, но помню, что ее речь замедлилась.

– Майя, ты же понимаешь, что тебе уже исполнилось восемнадцать и ты считаешься совершеннолетней?

Я кивнула, хотя это было бессмысленно. Она прекрасно знала, сколько мне лет.

– Молодых людей редко подвергают полной изоляции, какой мы подвергли тебя. Но ты же понимаешь, что это не просто так, что у нас были на то серьезные причины, и дело не только в том, что ты встречалась с парнем, который совершил преступление… с Себастианом… что у нас есть все основания подозревать…

Я кивнула. Сандер выпрямил спину.

– Что вы имеете в виду?

– Я поясню позже, когда мы обработаем все материалы. Но сейчас я прошу тебя рассказать нам всю правду. Так будет лучше для тебя. И мне кажется, тебе есть что нам рассказать.

Я инстинктивно кивнула, но тут же пожалела об этом и покачала головой. Сандер был напряжен как струна.

– И мы рассматриваем тебя как подозреваемую.

Наконец, впервые с начала допроса она заговорила по существу.

– И есть еще кое-что, что ты должна знать. Это касается того, что случилось до того, как вы с Себастианом уехали в школу. С отцом Себастиана. Хочешь поговорить с адвокатом? Мы можем сделать перерыв.

Я покачала головой.

– Уверена, что не хочешь поговорить с адвокатом, Майя?

– Нет, – покачала я головой.

К чему она клонит?

И тогда она рассказала, что Себастиан сделал до того, как я пришла к нему, чтобы вместе поехать в школу. Она говорила и говорила. Рот шевелился. Она задавала вопросы. Но я ничего не сказала. Я открыла рот, и оттуда вырвался он. Крик. И ничего больше. Только крик. Я кричала и не могла остановиться.

11

Я кричала, пока горло не начало гореть, а тело не перестало меня слушаться. Спустя тридцать два часа после событий в классе я наконец заснула. Достаточно было нервного срыва, врача в белом халате и укола в вену. Но спала я недолго. И проснулась с гудящей от музыки и неразборчивых слов головой.

Я огляделась по сторонам. Я была не в моей комнате, я была в изоляторе. Нет, я не знала, как выглядит изолятор, но при виде этого помещения никаких сомнений по его поводу у меня не возникло. Под постоянным наблюдением – так это называется. В помещении не было ни окна, ни кровати, только резиновый матрас на полу рядом со сточным отверстием для отправления естественных потребностей.

Они думали, что меня будет тошнить. На одной из стен висело мутное зеркало. Я старалась не смотреться в него, потому что знала, что они сидят за ним и следят за мной, как за рыбой в аквариуме.

Вместо этого я уставилась в потолок и ждала, что он обрушится на меня или размякнет как простокваша, разойдется посередине, из щели высунется рука и утянет меня за собой вверх.

Смертельно боятся. Я видела страх у них на лицах. Их дочь убийца. Она все это заслужила. Почему она не умерла? Лучше бы она умерла.

Мама с папой живы?

Теперь я понимала, почему полицейские так странно отреагировали на этот вопрос.

Обычно я сентиментальна. Я плачу в кино, или когда вижу рекламные ролики с симпатичными младенцами, или когда кто-то так хорошо поет в передаче «Голос», что жюри заходится аплодисментами от восторга и удивления. Сейчас, сейчас начинается твоя новая жизнь, говорят они. Я плачу, когда кто-то просто так мил со мной, без особой на то причины. Я плачу, когда злюсь, и не могу объяснить причину злости.

Фильм плохо кончился? Я плачу. Хорошо кончился? Я плачу. Такова моя натура. Но тогда я не плакала. Слезами горю не поможешь. Рыдать бесполезно. Плохой конец расстраивает только когда кажется несправедливым, когда могла бы быть альтернатива. Но если другого варианта не было, то и рыдать бесполезно.

Я не верила, что смогу заснуть. Думала, что так и буду лежать на этом матрасе целую вечность. Аквариумная рыбка, выброшенная на пол. Внезапно я почувствовала, что вся мокрая от пота. Мокрая насквозь. Волосы тоже были мокрые. Меня бил озноб. Ладони окоченели. Но там не было одеяла, чтобы укрыться. Меня трясло все сильнее. Кожа чесалась. Голова тоже. И ладони.

И я посмотрела на зеркальную стену. Я знала, что за ней люди. Я чувствовала, как они смотрят на меня. Смотрят на аквариум, в котором я плаваю брюхом вверх. На уроках религиоведения мы говорили о сумасшедшем датском художнике, который выставил в музее золотых рыбок. Десять золотых рыбок в миксерах. И посетители могли, по своему желанию, нажать кнопку «старт» и включить миксер. Дззз. Одна секунда – и смузи «Золотая рыбка» готов.

Снимают ли меня на камеру? Разумеется. Нужно ли им говорить, что они следят за мной? Нет. Они ничего у меня не спрашивали, когда раздевали меня, кололи иглами, пичкали таблетками. Я смотрела на стену с широко раскрытыми глазами. Люди были вокруг меня. Они будут открывать и закрывать двери. Я буду забывать их, вспоминать их. Они будут подходить и трогать меня. Дззззз.

О каком сне может идти речь? Разве может одна маленькая белая таблетка заставить меня расслабиться? Один укол? Никогда. Я не могу рисковать. Стоит мне закрыть глаза, как все вернется. Полиция хотела, чтобы я им все рассказала. Потом они сообщили, что Клаес мертв. Себастиан застрелил его первым. Когда я пришла к ним домой в то утро, Клаес Фагерман уже лежал мертвый на полу в кухне.

– Что ты думала о Клаесе, Майя? Что он тебе сделал? Что ты думала о том, что он тебе сделал? Можешь рассказать нам, что ты сказала Себастиану о его отце, Майя? Можем мы поговорить о том, что ты написала Себастиану накануне? Вот почему они задавали все эти вопросы. Они сказали, что мы с Себастианом решили, что его отец должен умереть. И другие тоже. Почему они должны были умереть. Майя?

Они сказали, что мы с Себастианом приняли решение умереть вместе, но я не решилась. Они сказали, что страх смерти – это нормально.

– Ты испугалась, когда поняла, что это конец? Да, Майя?

Я даже не знала, где начало. И вот я лежу в камере, где за мной следят невидимые мне люди. И это еще не конец.

В начале того, что можно назвать началом, мы с Себастианом зависали в бассейне. Бассейн находился в западном крыле. Там же располагалась вечно пустовавшая комната для гостей. Двуспальная кровать всегда была застелена свежими прохладными простынями. И в бассейне динамики были повсюду – на потолке, во всех углах, внизу на уровне пола. Самый лучший звук был в бассейне. Музыка заглушала слабое жужжание очистительной системы. Мы ставили одни и те же песни. Любимые песни Себастиана. Мои любимые. Наши. Музыка поглощала нас, делала своей частью.

Интересно, что было в этом шприце, думала я, чувствуя, как тело немеет. В голове жужжало и трещало, как в плохом радио, когда постоянно крутишь тумблер, переключая станции. Сначала треск, потом звук. Белый шум. Звук. Белый шум. Звук.

Клаес ненавидел наркоманов, так он говорил. Но это была только одна из причин его ненависти к Себастиану.

Я гладила обитую мягким стену камеры и думала о том, что было вечность назад. Я потеряла счет времени. Да, вечером накануне я приняла кое-что, я была под кайфом, я нервничала, мне было страшно. Клаес был отвратителен. Я ненавидела его. Он плохо обращался со мной, плохо обращался с Себастианом. Кто-то должен был сказать Себастиану, что у его отца не все в порядке с головой. Не все в порядке с головой, так я и сказала Себастиану. И он сделал то,

что сделал.

Присев на матрасе, я обнаружила, что босая. Пол был мягким и прохладным под моими босыми ступнями. Когда я приехала из больницы, мне выдали туфли без шнурков, похожие на тапочки. Но теперь забрали и их.

На проводах над кругом Вендевэгсронделлен недалеко от PLO-villan всегда висели кроссовки, связанные шнурками. Я слышала, что в Нью-Йорке кроссовки, свисающие с фонаря, означают, что тут можно купить героин. В Юрсхольме не нужно было слоняться по улицам в поисках дури. У мамы с папой скрученные косяки хранились вместе с сигарами в библиотеке в запертом шкафу. Они были такие старые и сухие, что вряд ли их можно было курить. Но предкам, видимо, было прикольно думать, что у них дома хранится дурь. На черный день. Они считали, что это делает их крутыми. Смотри, что у нас есть. Почему бы нам не курнуть? Интересно, нашла ли полиция дурь, когда делала обыск, или мама успела все выбросить? А может, они сказали, что это моя? Хотя я скорее выкурила бы кроличьи какашки, чем прикоснулась к их жалкому тайнику.

Я легла на пол рядом со сточным отверстием. Я уже давно бросила принимать наркотики. Или почти бросила. Из-за этого Себастиан все время на меня злился. Потому что я отказывалась. Отказывалась ведь? Завязала?

Голова кружилась, меня тошнило.

У Себастиана был свой дилер. Он звонил ему, чтобы заказать «такси» или «пиццу» или «чистку бассейна». Шифр был примитивный. «Две пиццы “Хрустящая итальянская” с двойным сыром. Луковые колечки. И бутылку фанты. Нас четверо». А потом он перешел на Денниса, и дилер больше был не нужен. В деле наркоты Деннису не было равных. Нужно ли это рассказать? Хочет ли полиция знать, где Себастиан брал наркотики? Стоит ли сказать, что во всем виноваты именно они? Они все равно решат, что дело в наркотиках. Но так ли это? Ждет ли от меня этого Сандер? Надо ли рассказать про вечеринки? Вечеринки Себастиана были просто фантастическими. Легендарными.

У других амбиций хватало только на изысканные вина из родительских погребов и «Беллини» на основе «Дом Периньон». Те, другие, считали, что достаточно заплатить школьницам, чтобы они подавали напитки, одетые в бикини, но

Себастиан был не из таких. Он брал напрокат профессиональное музыкальное оборудование, приглашал известных диджеев, поваров, пиццемейкера из Неаполя, заказывал фейерверки и устраивал морские прогулки на яхте. Однажды Себастиан привез из Нью-Йорка известного блогера, прославившегося своими видео на «Ютьюбе». Себастиан был ужратым в говно и переспал с одной из подружек Аманды по школе верховой езды. Через пару недель блогер выложил на «Ютьюб» ролик The-Party-with-Swedes, и этот ролик набрал более двух миллионов просмотров. Фантазии Себастиана не было границ. Все обожали его вечеринки.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Люсия – символ света – на празднике Святой Люсии выбирают самую красивую девушку. – Здесь и далее примеч. пер.

2

«Танцы со звездами».

3

«Последний герой».

4

Банда Далтонов (Dalton Gang), также известная, как Братья Далтоны – преступная группа на американском Диком Западе в 1890–1892 годах. Банда специализировалась на банковских и железнодорожных ограблениях.

5

Эльвира Мадиган (дат. Elvira Madigan), настоящее имя Хедвига Антуанетта Изабелла Элеонора Йенсен – датская цирковая артистка. Она и ее возлюбленный, шведский лейтенант граф Сикстен Спарре являются самым известным в Скандинавии примером трагической любви.

6

Best friends forever (англ.) – лучшие друзья навсегда.

7

Т. е. теплая погода, при которой можно ходить в шлепанцах на босу ногу.

8

Или носить колготки с маленькой плотностью.

9

Буквально: после катания на лыжах.

10

Куин Латифа – американская чернокожая певица, актриса, модель.

11

«Приключения Бесхвостика Пелле», Йоста Кнутссон.

Купить: https://tellnovel.com/malin-dzhiolito/zybuchie-peski-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити